

Петр КРАСНОВ

ИМПЕРАТРИЦЫ



Серия исторических романов

Петр Краснов

Императрицы (сборник)

«ВЕЧЕ»

1933, 1935, 2007

Краснов П. Н.

Императрицы (сборник) / П. Н. Краснов — «ВЕЧЕ», 1933, 1935, 2007 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-9533-5018-1

Две эпохи – один век. «Императрицы» – это книга о великих женщинах XVIII столетия. Роман «Цесаревна» – пронзительно нежное и в то же время жесткое повествование о судьбе великой русской императрицы, дочери Петра Первого Елизавете. Роман «Екатерина Великая» – исторически и хронологически продолжает «Цесаревну», но одновременно является серьезным исследованием-размышлением автора о судьбе России, о бремени власти и ее ответственности перед потомками.

ISBN 978-5-9533-5018-1

© Краснов П. Н., 1933, 1935, 2007

© ВЕЧЕ, 1933, 1935, 2007

Содержание

Об авторе	6
Цесаревна[1]	8
Часть первая	8
I	8
II	16
III	26
IV	30
V	38
VI	41
VII	43
VIII	46
IX	49
Часть вторая	55
I	55
II	60
III	63
IV	66
V	69
VI	72
VII	74
VIII	76
IX	78
X	81
XI	85
XII	90
XIII	93
XIV	96
XV	100
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Петр Краснов

Императрицы (Сборник)

Знак информационной продукции 12+

© ООО «Издательство «Вече», 2014

Об авторе

Писатель, историк и боевой генерал Петр Николаевич Краснов (1869–1947) родился в Петербурге, в семье потомственного донского казака. В отличие от старших братьев, тяготевших к мирным занятиям литературой и наукой, младший, Петр, решил продолжить дело отца, избрав военную карьеру.

Закончив Первое военное Павловское училище, Петр Николаевич начал службу в казачьем полку и быстро стал сотником. Но, как вскоре выяснилось, семейная тяга к творчеству передалась и ему. Краснов рано начал проявлять интерес к литературе. В 12-летнем возрасте писал детские рассказы, издавал их в домашнем журнале «Юность», собственноручно осуществляя набор и печатание. Активной литературной деятельностью начал заниматься с 1891 года. В ранних повестях и рассказах, печатавшихся преимущественно в приложениях к журналу «Нива» и вошедших в сборники «На озере» (1895) и «Ваграм» (1898), Краснов изображал жизнь кадетов, юнкеров, офицеров (во многих из них присутствовала любовная интрига), развивая мысль об офицерстве «как особой благородной касте, отстаивая привилегии гвардейцев...». Однако определяющей темой ранних произведений Краснова явилась тема героического прошлого донского казачества: роман «Атаман Платов», сборники «Донцы: Рассказы из казачьей жизни», «Донской казачий полк сто лет тому назад», «Казаки в начале XIX века: Исторический очерк» (все изданы в 1896–1897 гг.).

Военная карьера молодого литератора тоже складывалась на редкость удачно. В 1897 году, когда в Абиссинию была послана первая русская дипломатическая миссия, сопровождать ее было поручено конвоем из гвардейских казаков под начальством бравого сотника Петра Краснова. Результатом этой экспедиции стало не только повышение престижа России, оказавшей помощь далекой стране, боровшейся за независимость от Италии, но и книга «Казаки в Африке. Дневник начальника конвоя российской императорской миссии в Абиссинии в 1897–1898 гг.».

Вернувшись из экспедиции, Краснов женился и продолжил службу в родном полку. Во время Русско-японской войны Краснов самоотверженно сражался и был награжден несколькими орденами за храбрость. Первая мировая, а затем и Гражданская война сделали Петра Николаевича Краснова человеком жестким, неуступчивым, выявив в нем качества талантливого командира и прекрасного организатора. В это же время он обретает широкую известность и как военный публицист, историк-популяризатор, автор биографии Суворова и многих исторических произведений.

Активно не приняв революцию и большевизм, уже в чине генерала, Петр Николаевич, не сойдясь с Деникиным, присоединился сначала к Юденичу, а затем к Врангелю. С 1920 года Краснов находился в эмиграции. С 1936 года Петр Николаевич обосновался в Германии. Его бескомпромиссная позиция – «хоть с чертом, но против большевиков» – привела к тому, что талантливый литератор и бывший русский боевой генерал пошел на сотрудничество с фашистами. Он надеялся на освобождение казаков от сталинского ига, мечтал о создании всеказацкого союзного государства.

По окончании Второй мировой войны генерал Краснов был захвачен войсками союзников, передан советской власти и в 1947 году казнен вместе с другими генералами бывшего Белого движения.

Избранные сочинения П. Н. Краснова:

«От Двуглавого Орла к красному знамени» (1921–1922)

- «Опавшие листья» (1923)
- «Понять – простить» (1924)
- «Единая – Неделимая» (1925)
- «Все проходит» (1926)
- «Белая свитка» (1928)
- «Largo» (1928)
- «Выпашь» (1931)
- «Подвиг» (1932)
- «Цесаревна» (1933)
- «Екатерина Великая» (1935)
- «Домой» (1936)
- «Цареубийцы» (1938)
- «Павлоны» (1943)

Цесаревна¹

Часть первая

I

В Конотопе верховых и выючных лошадей оставили. Дальше, до самой Москвы, шел ямской тракт, и полковник Федор Степанович Вишневецкий подрядил телегу по казенной подорожной. Он ездил в Венгрию покупать вина для императрицы Анны Иоанновны и, отправив покупку обозом за надежным бережением, сам спешил в Петербург.

Алеша вышел на крыльцо и долго смотрел, как реестровый казак с пятью заводными лошадьми трусил по обратной дороге. Был прохладный полдень, и уже пахло весною. Земля на солнце оттаяла и просохла. Белая пыль поднималась за лошадьми, и в ней, как в тумане, горел неярким пламенем алый тумак черкесской шапки казака. Висячие рукава кунтуша мотались за спиною, как крылья, и с дома с самого детства знакомые и точно родные лошади спешили покорной ходой. Серко бежал сбоку, и Алеше долго были видны высокие луки, обтянутые алым сафьяном полковничьего седла.

На деревянном крыльце, на щелястом полу с глубокими темными морщинами плохо оструганных досок лежали пестрые ковровые хуржины – переметные сумы с домашней провизией. Темное горлышко толстой пузатой сулеи с токайским вином – счастливый покупатель себя не забыл – торчало из крайней сумы. В хуржинах – Алеша их укладывал с матерью – лежали коржики сладкие, на меду, домашние сухари, что напекла и засушила ему на дорогу, – «аж до самого Сам-Питербурха чтобы хватило» – мачка Наталья Демьяновна. Громадный кусок сала, ветчина и колбасы – деревенская снедь в мокрых холщовых тряпицах наполняли сумы. Алеша долго смотрел, как серел и голубел, уменьшаясь, точно тая в воздухе, казак с родного хутора Лемеша, и с ним серело и таяло, исчезая в небытие, и его прошлое. И сейчас – будто кто-то совсем другой, незнакомый и чужой, стоял на крыльце ямской избы, над которой свешивали воздушные нити тонких ветвей еще голые акации.

Было грустно. Точно снились – поднимались воспоминания нерадостного и невеселого детства.

Пригонит Алеша к вечеру общественное лемешское стадо и, голодный, обгорелый на толоке, пропахший скотиной и полынной горечью степных трав, с длинным бичом на плече войдет в хату, снимет рваную шапчонку и станет креститься на темные лики икон, на толстый дубовый сволок, где славянскими буквами, под титлами вырезана надпись: «Благословением Бога Отца, поспешением Сына». Здесь был вырезан крест: «Содействием Святого Духа создася дом сей рабы Божией Натальи Розумихи. Року 1711 мая 5 дня». Помолившись, ждет от отца приглашения вечерять.

За столом, на лавке, сидит отец и с ним человек пять соседей казаков. Все уже пьяны достаточно. Оловянные стаканы с брагой то и дело осушаются. Отец, кивая красной, в седых кудрях головой и расправляя длинный ус, рассказывает – в который уже раз! – о своих доблестях и невзгодах.

¹ Текст печатается по изданию: Краснов П. Н. Цесаревна: роман. Париж: Изд. Е. Сияльской, 1932.

– Та я ж, – кричит он, стуча стаканом по столу, – с великой охотой вси козацкие против татар и протчих неприятелей отправлял походы!.. Ох!.. – щелкает он себя по высокому и красивому лбу. – Гей! Що то за голова, що то за розум!.. Но... нема хвортуны... Вишь, бидолага! Ради частых нечаемых, ово от неприятелей, ово от междуусобных разорений все знищало... А то!.. Гей, хлопцы! Що то за голова, що то за розум!..

С этой отцовской поговорки Алешу и все их семейство прозвали на хуторе Розумами.

Теперь казалось Алеше, что тогда устало сидел в углу, на лавке в хате, пил молоко, прислушиваясь к пьяной болтовне отца, совсем и не он, а какой-то маленький и жалкий пастушок, ничего общего не имевший со статным молодцом, что стоит сейчас на крыльце ямской избы в Конотопе и что едет с паном полковником в Санкт-Петербург.

Вспоминает Алеша, как он тайком от отца ходил к дьячку села Чемер учиться грамоте и церковному пению. Отец узнал об этом и, – тоже точно и не наяву это было, но только приснилось, – пьяный гонялся за ним, а он в смертельном испуге убегал от отца, кружа около хаты. Отец настигал его. Он проскочил под ворота, а отец вслед ему пустил с такой силой топор, что он глубоко врезался в доски ворот... После этого Алеша бежал из отцовского дома и поселился у дьячка. Здесь познал он сладость науки и прелесть гармонии пения.

И вот совсем недавно, в начале января, – как хорошо запомнился этот день Алеше, а тоже и не поймет совсем, во сне это ему снилось или точно так было, – в этом самом сером чекменике пришел он домой, к матери. И видит... Совсем сон... В маленькие окна светит яркое, утреннее солнце. И от того ли, что небо было какое-то особенно голубое, или от чего-то другого – вся хата точно золотисто-голубой дымкою наполнена. В ней совсем не похожая на себя на лавке сидит Наталья Демьяновна. Ее широкое, белое лицо восторженно улыбается чему-то далекому, ею одной зримому.

– А знаешь, сынку, – говорит она, и ее голос не похож на обычный голос, – что мне нонче приснилось. Вхожу я будто в хату, а в ней на потолке, о чуде! светят солнце, месяц и звезды. И чего николи не бывает – все разом. Я потом и сказала о том соседям, а те посмеялись надо мной... А я, сынку, правда ж – так явственно: солнце, месяц-звезды... Чаю, не к худу... солнышко видеть во сне?..

Как запомнилось это почему-то Алеше? Потому ли, что недавно это было, потому ли, что уже совсем тогда необычной показалась ему мачка, и освещение в хате было такое, что впору только присниться, но и сейчас точно снова видит: свет голубой в хате, совсем особенный, небывалый. Солнце бросает квадратные золотые отблески на белый глиняный пол, пахнет сухими травами, и в этом свете, в этом запахе – мать восторженная, восхищенная своим необыкновенным сном.

– Солнце, месяц и звезды – все вместе!.. И ты пришел!.. Да не про тебя ли, Алеша, я сон тот видала?

В золотисто-голубом дыму родная, и глаза блестят, точно отразили, затаили и сохранили во сне виденные светила.

Три дня спустя проезжал через село Чемер полковник Федор Степанович Вишневский. Был праздничный день, и в чистую, приветливую сельскую церковь прошел пан полковник. Он стоял впереди всех в парадном, золотом шитом жупане, горделиво опирался на саблю, отставлял ногу в широких, малинового бархата шароварах и наклонял чубатую голову, слушая пение хора. С клироса неся чистый, точно прозрачный, звенящий тенор и брал за самую душу умиротворяющими звуками, настраивая молитвенно. Когда кончили службу, полковник не вышел с народом, но подождал и попросил к себе дьячка с клироса.

– А кто у тебя тенором так знатно пел? – спросил он, расправляя длинный ус.

– То Алексей Розум, пан полковник, – отвечал дьячок.

– Знатно пел... Очень даже правдоподобно... А ну, покажи мне того Розума, дай посмотрю, что за чоловік.

Перед полковником предстал высокий, стройный двадцатидвухлетний парубок. Смугловато было загорелое лицо. Под размахом густых черных бровей из-за решетки длинных, по-детски загнутых кверху ресниц притушенным огнем горели прекрасные, глубокие темные глаза.

Полковник внимательно с ног до головы осмотрел парубка, крикнул от удовольствия и сказал:

– Да такому молодцу в Санкт-Петербурге петь. А ну, вот що, везите меня к родителям молодца, покумекаем с ними. Может, чего и надумаем.

Так только во сне бывает, вдруг в миг один, в мановение очей вся жизнь перевернулась для Алеша, и прошлое стало сном, а будущее манило куда-то в полную тайны неизвестность.

Пьяный отец бил крепко по рукам полковника, точно лошадь ему продавал, и, тыкая Алешу в грудь, кричал:

– Ты посмотри на него! Гей! Що то за голова, що то за розум!

Мать, не осушая залитых слезами разлуки с сыном глаз, пекла и жарила на дороге. А потом ранним утром хлопцы на дворе седлали и выючили коней и – айда!.. понеслись кони широкой ходой через сады и левяды, через поля и луга в степь, к глубоким весенним бродам, к паромам через широкие и быстрые реки, в далекую зовущую даль.

Все прошлое исчезло, растаяло, как дым, улеглось, как дорожная пыль. Впереди, как эта бесконечная дорога, расстилалась жизнь, и в ней: все от Бога, все через Бога! Каждая былинка, каждый камушек, деревцо, придорожная роща – все зовет, все сулит нечто новое. Кто знает – счастье, нет ли?..

– Все равно нечто новое, – с детства усвоил Алеша, – хоть гирише, да иныше!..

Ямщик подал телегу. Тройка сухих гнедых подняла пыль. Под широкой расписной дугой побрякивал колокольчик, бубенцы-глухари незвонко щелкали. Длинные оси были густо намазаны в синь ударяющим дегтем. Вишневский вышел из хаты. Алеша накладывал на телегу хуржины, закутывал их в душистое полынное, степовое сено, подкладывал подушки.

Все было так ново для Алеша. И быстрая езда от стана до стана, и ямские избы, около которых часто стояли шинки, царевы кружала, с зеленой елкой над крыльцом, где была истоптана земля конскими копытами и густо занавожена и где терпко пахло жильем и постоем.

Там после грохота скачущей по выбитой дороге телеги, после немолчного звона колокольцев и бубенцов, покрика ямщика, толчков на выбоинах и колдобинах, когда Алеша цеплялся руками за грядки, – такой прекрасной, полной покоя казалась точно живая, чарующая и медлительная тишина. Кругом – покой широкой степи, уснувшие, опустившие нежные весенние листья вербы у колодца и сонные голоса ямского комиссара и ямщиков. И, кажется, неслышно бьется сердце, точно и оно остановилось на отдых, на станцию, на перепряжку.

День перевалил за полдень. Длинными стали синие тени. Пахло навозом, сеном, соломенным дымом, хлебом и точно ладаном. В черной растоптанной грязи у колодца лошади ожидали, когда наполнят долбленную колоду, журавель со скрипом опускался в глубину и долго и медленно тянул тяжелое ведро. Лошади в сбруе пили жадно, поводя боками. Ямщик посвистывал и лениво переговаривался с бабой, принесшей ему хлеб и сыр, завернутый в тряпицу, с крыльца комиссар в мундирном кафтане говорил хриплым, непроснувшимся голосом:

– Обратно поедешь, завезешь письмо помещице Олтабасовой.

Ямщик, не глядя на смотрителя, глухо, рывком отвечал:

– Понимаю.

Вишневский в хате пил токайское и закусывал печеными яйцами и таранью. Этой тарани, до боли в языке соленной, и копченого сала до отвала наелся Алеша, и ему хотелось прильнуть вместе с лошадьми к колоде, куда с холодным, дремотным журчаньем выливалась из бадьи вода, и пить, вложив полные губы в самую влагу.

Из-за угла неожиданно появился сбитенщик. Он был в валенках, в рваном полушубке, к которому был привьючен большой медный куб с длинным краном, закутанный в тряпье.

Полковник из окна крикнул Алеше:

– Розум, напейся сбитенька... Возьми на пол-алтына.

Сбитенщик с пояса снял глиняную кружку, ополоснул ее горячей водой, и золотистый сбитень, пахнувший медом и мятой, дымясь паром, журча полился из крана в кружку. К сбитню подана пара баранок. И, Боже, каким нектаром, каким благодатным напитком кажется Алеше эта кружка горячего сбитня!

Только допил – уже телега запряжена и стоит у крыльца, полковник, отдуваясь винным духом и потягиваясь с хрустом в сухих суставах, появляется на крыльце. Садятся, закрываются от пыли холстом.

– Ну, гони, что ли, ямщик!

Дальше, дальше разворачивается дорога-жизнь, путь-дорога дальняя... В полдень уехали из Конотопа, а к ночи незаметно отмахали восемьдесят верст, и все было уже совсем не похожее на то, что было в Малороссии.

Синяя степь, балки, поросшие мелким дубняком и боярышником и темными кустами терновника, на южных скатах начинающего зацветать восковым цветом, розовые кусты тюльпанов на лобках холмов остались позади и вправо. Сегодня еще проезжали мимо белых глиняных малороссийских мазанок с высокими и крутыми соломенными крышами, с вишневыми садочками, кое-где начинающими опускаться нежным белым цветом, мимо высоких распятий, окруженных кряжистыми дубами с черными голыми ветвями, простертыми в разные стороны, мимо серых левад из ясеней и серебристых тополей, мимо ставцев с сухими, желтыми, прошлогодними камышами, с чмокающими в тине карасями и ноздревато-серым, в скотских следах, спуском водопоя, мимо так похожего на Лемешу хутора, где дивчины в расшитых рубашках с крепкими ногами, обернутыми шерстяными плахтами, и парни в смушковых шапках и в белых холщовых шароварах, замазанных дегтем, как две капли воды походили на лемешских обывателей, а завтра с утра потянулся дремучий бор. Толстые дубы тесно придвинулись к узкой дороге – куда же ей до широкого малороссийского, степного шляха! – осины трепетали молодыми листьями, и Алеша знал, что потому так трепещет и словно дрожит осина, что на ней Иуда, предавший Христа, удавился. В темной дремучей глубине, точно волосы гигантов деревьев, висели увядшие плети ежевики и плюща, сухой бурелом, поросший зелено-серым мхом, лежал в глубине, и желто-коричневый прошлогодний папоротник в своей непролазной гуще словно таил что-то страшное. Уж не медведь ли там был?

Вишневский достал из деревянного футляра пистолеты – ходила в народе молва: в этом лесу «гуляют».

В тесном проезде дороги, заросшей белыми анемонами, куда до самой колеи добегали молодые березки и темные косматые можжевельники, глухо и таинственно позванивали бубенцы. Шагов на полтора ступа, тянулась узкая темная лужа. Ямщик придержал лошадей, и они вошли в нее, осторожно ступая, опутив головы к самой воде, точно стараясь измерить ее глубину.

Крупными алмазами летели брызги из-под копыт, колеса с прозрачным тихим журчанием раздвигали воду, железные обода стали серебристо-белыми, грязь и пыль сползли с дубовых спиц. Покряхтывал, покачиваясь на глубинах, кузов телеги, передние колеса ушли совсем в

воду, лошади крепко били по мокрым крупам туго подвязанными хвостами. Ямщик обернул щербатое, в рыжих оспинах лицо и сказал, тыча в лес кнутовищем:

– Вот тут они и нападают. Потому, куда ты подашься?.. Глыбко и перевернуться на колдобине очень даже просто.

Алеша большими, черными глазами в длинных ресницах пытливо оглядывал лес. Жутко и сладко было у него на сердце.

«А ну нападут? – думал он. – Что же, и пускай нападут... А полковник их из пистолета, а я кулаками», – он сжимал красивую, крупную руку с длинными пальцами и морщил брови.

Полковник сбоку поглядывал на него и улыбался в темный ус.

– А и хорош ты, Алеша, – сказал полковник. – В деревне родился, а любой петиметр тебе позавидует – так ты прекрасен. Сколь прекрасна в тебе и богата порода!

Эти слова были непонятны и раздражали Алешу. Не девка же он! Он сильнее хмурил красивые брови и становился еще лучше в дикой, волнующей, первобытной и яркой своей красе.

За лесом, в жалких полях, показалась деревня. Лошадей меняли у въезжей избы, и пока перепрягали, Алеша дивился, как могут так жить люди. В низкой горнице было темно. Узкое окно было затянуто пузырем. Почти всю горницу занимала широкая печь. На ее лежанке, на грязном и смрадном тряпье копошились люди, ребенок плакал в зыбке, подвешанной к жерди, маленький еще, на шатких ногах теленок топтался подле, квочка неподвижно сидела в гнезде, и тут же возились дети в рваных рубашонках – все жило вместе в жидкой и вонючей грязи земляного пола. Полковник не входил в избу, Алеша брезгливо осматривал ее бедное и жалкое убранство. Хозяина не было, лошадей привела хозяйка, за ямщика сел парнишка лет десяти, без шапки, бледнолицый, беловолосый и грязный.

Точно в другое какое государство попали.

«Москали», – думал Алеша, с жалостной жутью посматривая на деревни, которые им попадались. Бедны и унылы были они. Крошечные, криво срубленные избы были одна, как другая – всех поравняла бедность. Они точно вросли в землю. Крупные, прокопченные дымом, они не походили на постоянные жилища людей. Алеше казалось, что стоят они с очень давних времен, с тех времен, о которых Алеша читал в Библии, или с тех, когда нападали на Русь татары. Этих времен не помнит ни отец, ни дед Алеши. И не было садов. Редко где покажется голая топыркая яблоня с бледной, бархатистой зеленью розоватых почек, да на погосте над темными покосившимися крестами несколько плачущих берез свесили к могилам тонкое кружево голых ветвей.

Вдруг увидел Алеша за деревней толпы людей. За темным садом, окруженным высоким частоколом, черный, замшившийся, с волоковыми узкими окнами, с крутой, ободранной тесовой крышей, с обвалившейся прогнившей резьбой, необитаемый догнивал боярский терем. Народ подле копал пруд, и за стройными прямыми аллеями молодых, недавно посаженных деревьев, в лесах стоял новый, причудливо выстроенный, низкий и длинный, одноэтажный дом. В окнах блистали стекла, оранжереи и парники отражали солнечный свет.

Через толпы рабочего народа ехали шагом. Алеша видел, как мужик в коричневом азыме стал на четвереньки, на спину ему положили план, и немец большим циркулем размечал по нему. От толпы отделился человек в старом, потрепанном солдатском кафтане и треугольной черной шляпе. Он, широко шагая и размашисто по-солдатски махая руками, подошел к телеге и, скинув с головы шляпу, сказал:

– Дозвольте, ваше благородие, просить милости подвезти меня до деревни Собакиной. Аз есмь ефрейтор Ладожского полка Семен Мурлыкин.

– Садись, – сказал Вишневский. – С здешних мест?..

– Господ Забелиных бывший крепостной.

– Все строитесь?

– И не приведи Бог, чего замышляем, – усаживаясь лицом к Алеше и Вишневному и спиной к лошадям, сказал Мурлыкин. На его худощавом, темном, скуластом лице, в самых углах губ чуть скользнула насмешливая улыбка. – Вишь, новую какую Расею немцы строят. Господам – хоромы, а рабам – могилы... Да что, ваше благородие... Я сам походы ламывал, фельдмаршала Минихова, вот как тебя зараз вижу, видал. Ему что! Русские люди для него прах!.. Вышли мы, знашь, в степь пустую, и стал тот Минихов расейских людей перебирать, штаб- и обер-офицеров штрафовать, в солдаты без суда писать, а самых старых и заслуженных полковников перед фрунтом армии под ружьем водить, а все за безделицу: увидит, понимать, у офицера галстух не белый или что сам он, знашь, не напудренный, а в степи, сам понимать, кому на это смотреть?.. Петра Великого законы стали уничтожать – сам понимать, какое это дело выходит!... Провианту у нас ничего уже не стало. Люди стали ослабевать и с голода помирать. Минихов ни на что не смотрит. Хотя мертвых старых солдат перед собой видит, никогда никого не пожалел, ибо не его то крестьяне и не с его деревни взяты, а российских дворян он ни одного в свойстве даже не имеет, так чего же их жалеть!..

– Ты что же, беглый?..

Мурлыкин точно обиделся.

– Зачем?.. Ничего я не беглый! Вот и ярлыки есть при мне. Посылан я от полка за сапожным товаром.

Он небрежно сплюнул и, показывая на блиставшие на солнце стеклами хоромы, продолжал:

– Все строимся... Один Минихов плантов сколько перечертил – страсть! Граф Биронов, слышали?.. – в Питербурхе конскую школу поставил, ну чисто храм Божий, удивлению подобно. Граф Растреляев строил, из Италии, сказывали, выписали нарочно такого доку. Ныне в Питербурхе – лошади, да что лошади... канарейке, чижу несчастному какому, скворцу, снегирю куды занятнее живется, чем крепостному православному человеку. Потому одно слово – немцы!.. Им губить русского человека надобно. У своих я побывал – аж даже тошно стало! Чистый ад! Отец с матерью на постройках, а детишки малые со скотом валяются, не кормленные, в грязи да в коросте!.. С двух концов Расею жгут!.. Ну да!.. Недолго им осталось пановать да мордовать над нами!

– Что недолго? – спросил Вишневецкий.

– Да что!.. Сам понимать, растет у нас, – солдат подмигнул полковнику, – понимать кто?.. Дочка евоная!.. Наша солдатская дочка!

– Ты, Мурлыкин, ты того, зря не болтай. Ты меня разве знаешь, кто я?..

– Вижу. Козацкий полковник. Вы, ваше благородие, сами лучше меня понимаете, о чем речь веду.

Мурлыкин стиснул зубы, крепкие желваки гневом заиграли на его скулах, лицо стало бледным от злобы. Он крепко сжал черные, зачугунелые на солнце и морозе кулаки и злобно сказал:

– Не владать немцам Россией! Ни во веки веков! Вот так по самое горло ухватят – все одно выскользнем. Растет у нас Богом данная полтавской победы дочка, искра Петра Великого, цесаревна Елизавета Петровна!.. Вот когда стройка-то пойдет!.. По-вчерашнему, по-петровскому!

Неожиданно, ловким оборотом Мурлыкин спрыгнул с телеги и побежал по проселку к черневшей на бугре курными маленькими избами деревушке.

– Спасибо, – крикнул он, взмахнув солдатским треухом. – Вот оно и Собакино!

– Що за чоловик?.. – спросил Алеша у Вишневецкого. – Що он такое говорит?

– Что за человек, – сказал, потягиваясь, полковник, – беглый солдат. Мало их, думаешь, по России-то бродит да языком зря звонит. Попадется – узнает зеленую улицу. Забьют его шомполами.

Чем дальше ехали, чем ближе были к Москве, тем чаще видели стройку новых помещичьих гнезд. Старая Россия, с ее деревянными, веками стоявшими, кондовыми хоромами исчезала, точно змея меняя свою шкуру. Повсюду появлялись новые и часто каменные дома немецкой или голландской стройки. На смену тенистым старым беззатейливым садам разбивали новые парки с кругло постриженными молодыми деревцами, копали пруды, ставили беседки и павильоны. Везде распоряжался выписной из-за границы немец или итальянец, ученик большого мастера. Землю размечали по планам, по дорогам ставили верстовые столбы, камнем мостили дороги у въезда в города и городские улицы.

Точно распахнул Петр Великий окно в Европу – и вот она сама жужжащими надоедливыми осенними мухами понеслась, полетела в Россию. Все это новое и по-своему прекрасное было только для дворян и помещиков. Рядом столько что отстроенными в немецком стиле хоромами, окруженными садом со стриженными фигурами, буксовыми кустами с подражанием Версалию, с гипсовыми статуями и мраморными урнами – таким же беспорядочным лохматым стадом разбегались низкие курные, черные избы, вросшие в землю по самые окна, накрытые шапками ржавой старой соломы. Такая же в них была грязь и вонь, так же вместе с телятами и поросятами валялись дети. Удивился Алеша, как не помрут они все в этой тесноте, духоте и вони? Люди здесь были другие, чем в их Черниговской округе. Маленькие, кривоногие, кособокие, обросшие до самых глаз бородами, грязные и неприветливые... Настоящие москали!.. Шли дни, то в дороге, то в избе в ожидании лошадей, или на реке, где ждали, когда спадет вода и можно будет переехать вброд, или когда подадут паром, то журчали колеса по пыльной дороге, лошади бежали спорой набеганной рысью, и немолчно звенел, заливался колокольчик. А потом точно время останавливалось. Сонная деревня. Долгое ожидание лошадей, терпеливое, тихое и дремотное. Сколько бродов проехали, сколько рек переплыли на паромах, сколько деревень и лесов миновали – и не упомянет Алеша.

Вдруг пошли богатые села, с тесом крытыми домами. Появились рослые и красивые мужики, бабы в цветных сарафанах, сады у домов, церкви с синими и зелеными куполами – довольство, веселье брызнет с них, как дождь в жаркую пору. И снова пустыри, дремучие леса, пески, поросшие пыльным вереском, курные, темные избы, ржавые болота, тощая кляча с трудом волочит тяжелую соху по кочковатой неплодородной почве. Россия показала Алеше свое лицо, и как переменчиво было оно! То, старое и голодное, кривилось оно в злобную гримасу, то улыбалось широко и радушно.

Чаще стали попадаться богатые села, красивые поместья, зеленые сады, веселый и развязный народ.

Москва была не за горами.

Весенний надвигался вечер. Солнце опускалось к недалекому темному лесу. От лошадей бежали смешные тени. Ноги у них были длинные и тонкие, они меряли землю, как циркулем мерял план на стройке тот немец, которого видал Алеша. После теплого дня быстро свежело, и затаившие в дневной жар свои ароматы цветы благоухали кругом. С крутого зеленого холма дорога спускалась в широкую луговину и шла через редкую прозрачную березовую рощу. Через низкую траву просвечивал зеленый мох, и в нем нежными изумрудно-зелеными кустиками поднимались ландыши. Белые струйки воздушных резных колокольчиков робко поднимались из длинных острых листьев. Их чистый аромат сливался с запахом березовой почки и был так обаятелен, что пан Вишне夫斯基 глубоко потянул носом, тронул ямщика за плечо и сказал:

– А ну-ка, братец, шажком. Уж больно дивно хорошо.

Колеса шуршали по песку. В роще наперебой, прощаясь с солнцем, пели зяблики и малиновки, и неподалеку соловей, пробуя голос, пускал первые робкие прерывистые трели.

Съехали с холма. Поехали по широкой дороге, в четыре ряда обсаженной березами с нежной прозрачной зеленью. За ними на холме показались высокие терема в густых садах. Окна пламенели на солнце. Золотые купола церкви блистали, под ними чинными рядами стояли избы большого богатого села, от него черными линейками огороды спускались к дороге и лугу. За дорогой был пруд в зацветающей черемухе, в тонких и нежных рябинах, в синеватой дымке плакучих ив. Пруд розовел, отражая закатное небо. Меж берез высокие столбы качелей стояли. Раскачивались на тонких прутах широкие доски, накрытые цветными коврами. Подле в затейливом хороводе сходились и расходились пестро одетые парни и девушки. К небу взлетали с мерным скрипом качели. У девушек, стоявших на краю досок, ветром вздымало юбки сарафанов, обнажая ноги. В лад взмахам качелей раздавалось хоровое пение. Пели нечто веселое, и Алеше, воспитанному на строгом церковном, «знаменном» распеве и на задумчиво-грустных малороссийских песнях-думах, казалось, что пели что-то срамное.

Телега въезжала на гулянку. Ясны стали четко отбиваемые слова:

Если в бане пару мало,
В камень воду льют,
Чтобы пару больше стало,
Значит... – поддают...

«Випп-вупп», – скрипели качели. В самую небесную высь летели веселые девушки. В кустах кто-то играл на флейте. Звонкий смех и визги глушили пение.

Девушка в голубом сарафане проскользнула, держась за жерди, по доске и в тот миг, когда доска проносилась над землей, прыгнула с нее, едва коснувшись земли, и пробежала с разлета к дороге. Она была рослая и крепкая. Густые золотисто-рыжие волосы, на концах ударявшие в бронзу, завитками, змейками, локонами разбегались по чистому белому лбу. На спине тяжело покоились косы. Дорогие мониста сверкали на шее. Белая, в кружевах, французского батиста рубашка прикрывала высокую молодую грудь. Голубой сарафан был заткан золотыми розами. От бега, от ветра качелей сарафан приник к ногам и очертил красоту их линий. Маленькие носки тонули в траве. Одуванчики золотым филигранным венком оправили башмачки. Белое, округлое лицо было приятной полноты и на щеках с ямочками горело румянцем. Небо точно отразилось в синеве глаз. Маленький пухлый рот приоткрылся. Точно ряд ландышей сверкал за алым разрезом милых губ.

Никогда такой совершенной красоты не видал Алеша. Могла ли она быть девушкой земли? Не была ли она из того мира, который раз показался и навеки запомнился Алеше. Когда зимой вошел в хату и увидел ее в прозрачно-золотисто-голубой дымке, и в ней мать рассказывала ему свой сон. Солнце, луна и звезды приснились тогда матери. Ярче и прекраснее солнца, таинственнее луны, нежнее далеких звезд показалась голубая красавица, подлинно царевна сказки...

Ямщик и полковник скинули перед ней шапки, и Алеша, отдаваясь преклонению перед совершенной этой красотой, сорвал с головы старый мерлушковый капелюх с серым чабаньим верхом и низко поклонился.

Губы девушки раскрылись в ласковой улыбке. Она небрежно-милостиво кивнула головой в ответ на поклон, круто повернулась, подбежала к качелям и, выждав, когда доска проносилась мимо, вскочила на нее и стала у жердей.

«Випп-вупп», – скрипели качели под нажимом сильных ног. Дальше ехала телега, неся за ней запах березы, черемухи и ландышей, и догоняла ее веселая срамная песня:

Сели девки на качели,
Взад-вперед снуют,

Чтоб качели вверх летели,
Значит... – поддают...

«Випп-вупп, випп-вупп», – в лад песне носились вверх, вниз качели.

Ямщик и Вишневский накрыли головы. Легкой рысцою побежали передохнувшие лошади.

– Кто она, ось подивиться? – задыхаясь от непонятного счастья, спросил Алеша.

Ямщик обернул к нему улыбающееся лицо.

– А не признал, что ли?.. – сказал он, блестя серыми лукавыми глазами. – Одна ведь на всю Расею такая и есть... А? Цесаревишна!

II

В Петербурге полковник Вишневский представил Алешу обер-гофмаршалу графу Рейнгольду Левенвольду. Сухой и чопорный швед в высоком пудреном парике, бритый, в темном кафтане, осмотрел молодого парня и задал несколько коротких вопросов.

– Родился когда?

– Року тысяча семьсот девятого, марта семнадцатого, пан, ваше сиятельство.

– Грамотен?

– Трошки учився.

– В церкви пел?

– Случалось, и спивал.

Граф Левенвольд сделал знак. Бритый лакей в шитом золотом кафтане, в белых панталонах, щиблетах с золотыми пуговицами и мягких башмаках неслышно подошел к графу и наклонил голову.

– Снаряди гусара. Пусть отведет молодца на Мойку к полковнику Ранцеву, на дом. Скажет – принять на квартиру. От меня, мол, прислан, – повернув голову к Алеше, еще стороже и суше кинул: – В придворный хор! Для апробации! Дальше видно будет. Там вашего брата черкас от гетмана Даниила Апостола немало прислано. Полковник обучит тебя чему надо. Неоте-сан совсем. Ишь стоишь как, расставив ноги... Раззява!

Алеша только глазами моргал. В голове нескладно гудело. Все казалось, стучат колеса телеги по дорожным ухабам, камням и сухим колеям!

«В придворный хор, – думал он, – ишь ты как склалось. Скажи-ка дома, скажут: брешешь!.. А какая там брехня? Ишь ты какой важный, в кафтане, почище чемерского дьячка будет. Прямо архиерей немецкой...»

Гусар в высокой шапке вел Алешу по петербургским улицам. Как вся Россия, так и Петербург строился. Рушили низкие и маленькие, голландского стиля, дома петровской стройки с деревянными крыльцами, выбегавшими на улицу, и на их место воздвигали высокие, в три и четыре яруса хоромы. Улицы были то мощены крупным булыжником, то деревянными толстыми опалубками, местами прогнившими и провалившимися. По ним ездили двуколки и кареты, запряженные то парой, то четвериком цугом. Вдоль улиц, где по тротуарам из досок, где по пыльным натоптанным в траве тропинкам, шли люди. Торговцы несли лотки на головах и кричали, заглядывая в окна домов.

За Мойкой Невский стал так широк, что сто человек могли идти по нему в ряд. Справа и слева, бульварами, росли кудрявые круглые липы. За ними были широкие луга. По зеленой низкой траве в желтых и белых цветах паслись коровы. Проспект упирался в длинное белое трехэтажное здание, в середине его была башня в стройных колонках, с длинным и узким

золотым шпилем, на вершине которого через мелкие золотистые барашки облаков плыл по небу золотой кораблик. Дальше виднелось кружево мачт и канатов настоящих кораблей.

Еще увидал Алеша влево за площадью такой большой храм, какие только в Москве были. Узкая его колокольня поднималась к небу. Гусар рассказывал Алеше:

– Смотри, хохол, то Адмиралтейство, где корабли строят, а то будет церковь Исаакия Далматского, а по ту сторону длинное розовое деревянное строение, то Зимний дворец, где императрица, Ее Императорское Величество, пребывание изволит иметь. А туда дальше идет Большая Немецкая улица. Понял? Запоминай!.. Господа пошлют тебя куда, будешь знать, как идти.

У небольшого одноэтажного особняка с крыльцом и с высоким деревянным забором вдоль сада гусар за фалду остановил Алешу. Звонко брякнул за дверью колокольчик. Старый солдат, полковничий денщик, отворил и, расспросив, в чем дело, пошел докладывать.

– Просют, – сказал он Алеше. – Ты можешь идти. Парень здесь останется.

Он открыл белую дверь с бронзовыми ручками. За дверью была светлая горница. Два окна в мелком переплете открывались в сад. Солнце светило на желто-дымные скользкие квадратные шашки паркета. Пахло воском канифоли, крепким табаком, смолой и водой. Белесые шпалеры покрывали стены. Против двери, на стене, на толстых шнурах в овальной золотой раме висел портрет императора Петра Великого. Под портретом на орехового дерева резной полочке стояла модель парусного корабля. По сторонам висели картины. В углу горницы был шкаф с книгами в желтокожаных переплетах. Подле него, в особом ставце, стояло знамя. Золотое копьё с орлом венчало древко. Под портретом был большой дубовый стол. Из-за него поднялся навстречу Алеше полковник Ранцев, командир Ладожского пехотного полка.

Согласно с регламентом Петра Великого – «полковнику надлежало знатному и искусному благовзрачному мужу быть, дабы свой почтенный чин мог с благопристойной честью тако вести, чтобы полку своему во всех случаях не гнусен был»...

Таков и был полковник Сергей Петрович Ранцев. Если знатность его могла быть оспариваема – он был «птенец гнезда Петрова» – дворянин без двора, каких создал Петр и кем заселил свой Петербург, то воинское искусство его было засвидетельствовано в первой и второй Нарве, под Лесной и Полтавой и даже под Дербентом. Всю Россию с севера до крайнего юга исколесил с полком полковник Ранцев.

Никак не мог он быть «гнусен своему полку». В мирное ли время, пешком, перед строем, на церемониальном марше или при занятии лагеря – высокий, статный, худощавый, в длинном армейском кафтане темно-зеленого сукна, с расстегнутыми у ворота пуговицами, с белым шелковым галстуком на шее, повязанным широким бантом, туго стянутый в талии золотом обшитым ремнем со шпагой, в чулках и щиблетах, в черной шляпе с тремя загнутыми полями, обшитой золотым галуном, в голубой, василькового цвета епанче, изящно наброшенной на плечи, в пудренном парике, красиво обрамлявшем сухое, загорелое, всегда чисто выбритое лицо, с трехаршинным партазаном с золотой кистью у копыя в руке – он был на голову выше своих гренадер и шел впереди них легко и смело, как подлинный вождь, ведущий полк. В баталии, на лошади, позади фрунта он ездил от одного фланга к другому, «побуждая всех ко исполнению своей должности против неприятеля». Умел он и сам стать впереди полка за «флигельмана» и так «метать артикулы», прихлопывая ладонью по суме и пристукивая по ружью, что сердце замирало у зрителей от восторга, и двухтысячная солдатская масса, стоявшая перед ним в четырехшереножном строю, увлеченная им, действовала, как согласная машина.

Был он и «благовзрачен» – с тонкими чертами благородного лица, с глубокими и строгими серо-стальными глазами, видящими самую душу солдата. Кроме полка, службы, армии, России у Сергея Петровича было только обожание Петра Великого. Он не знал и не хотел знать старой допетровской России с ее важными, медлительными, пузатыми боярами, торжественной полуславянской речью, темными палатами, душными хоромами и ханжеским древ-

лим благочестием. Для него Россия начиналась с Петра, и была та Россия – великая Россия славы императорской.

Мальчиком, сыном дворцового служителя Преображенской слободы, он пошел потешным на службу и, не отступая ни перед чем, прошел всю жестокую школу Петра. Казни и пытки стрельцов во время подавления мятежей старой России против новых порядков его не смущали. Солдат петровской регулярной армии, немцами вымуштрованной, шведами апробованной и натасканной, он презирал старое стрелецкое войско и пренебрежительно называл его «стрель-ці» – с «і» на конце. Он сопровождал Петра в его путешествии в Голландию и Францию и, вынеся много полезного от чужеземцев, остался русским, петровским солдатом. Жестокая ломка Петра, – Ранцев, по приказу цареву, стриг бороды и брил усы боярам, пытал и жег раскольников, издевался с князь-папой Ромодановским над изуверством и кликушеством, смирял гордыню духовенства в Синоде, все с одной мыслью: новая Россия не должна ничем походить на старую Московию. Со своими солдатами он рубил полковые светлицы и устанавливал их чинными рядами-ротами на островах невиской дельты, устраивая Санкт-Петербург, он сажал сады и огороды, твердо веруя, что парадиз петровский затмит Москву.

У него не было рода. Ряды предков, записанных в боярские книги, князья и бояре, не стояли за ним. За его кабинетом, в чистеньком светлом зале, с окнами, доходящими до пола, у стены, на особом постаменте, под стеклянным колпаком, как некая святыня, лежали патронная сума и ранец с флягой – солдатская его амуниция. Без роду и племени – «Сережкой» вошел он в солдатскую жизнь потешных и Петром за красиво уложенный ранец, умело и ловко вздетый на плечи, был назван Ранцевым. Ранец стал его гербом.

Он забыл о подлинной своей родине – селе Преображенском, его родиной стал Санкт-Петербург, при его участии строенный. Из Петербурга была взята им жена – Адель Фридриховна, дочь шведского шкипера, а посаженным отцом был сам Петр. В Петербурге родились и дети: сын Петр и дочь Маргарита. Он начинал ту Петербургскую Россию, которая казалась ему краше и славнее Московской Руси.

Опытным, офицерским взглядом Ранцев осмотрел вошедшего к нему рослого парня в сером малороссийском чекмене и по-солдатски оценил его.

– В придворные певчие, – сказал он. – Хорош, очень хорош! Такие везде надобны... России, братец, такие люди нужны... О голосе твоём судить будут те, кто к сему делу приставлен. Его сиятельство граф Левенвольд писал мне, чтобы временно принял я тебя в нахлебники и обтесал тебя... Учись!.. Наука не всегда и не в одной токмо школе обретается. Я помещу тебя с моим сыном, сержантом Преображенского полка... Когда свободен, ходи с ним, смотри ученья – пригодится. Когда найду время – побеседую с тобою. Имеешь что заявить?

Но не успел Алеша и рта разинуть, как полковник протянул руку и громко скомандовал: – Ступай!

И такова была сила его команды, что сзади Алеши невидимая рука распахнула дверь, а сам Алеша, как мог проворнее, повернулся кругом и вышел из кабинета.

«Фрыштыкали» в полдень, когда сержант Петр Ранцев возвращался с ученья, обедали в пять, в девять часов было «вечернее кушанье», в одиннадцать ложились спать. Так установилась по ранцевскому регламенту петербургская жизнь Алеши Розума. Она вполне совпала с теми занятиями, к каким привлекли его в придворной певческой капелле.

После ужина, когда Адель Фридриховна, высокая худощавая женщина, с голубыми глазами при темных волосах, делавшими ее лицо особенно моложавым и женственным, села в углу за пядьцами, полковник Ранцев раскурил трубку голландского кнастера, подал огня сыну, юноше семнадцати лет в Преображенском кафтане, широким жестом показал Алеше, чтобы он оставался за столом, и повел беседу-поучение.

Рита, ей шел шестнадцатый год, принесла на подносе высокие глиняные кружки с «английским» пивом. Настежь раскрыли окно, выходящее в сад, окруженный высоким забором. Румяная горела заря за садом. Все никак не могло зайти за горизонт низкое солнце. В розовой дымке были цветущие черемухи, белые стволы молодых берез казались прозрачными. Резеда и левкой в клумбах благоухали. Вдоль дорожки сада узорным ковром росли маргаритки.

С Невы тянуло свежестью, запахом воды и смоляных канатов. Из города приглушенный доносился стук подков и дребезжание колес по мостовой. Где-то далеко, должно быть в Семёновском полку, бил «тапту» (вечерняя заря) барабан. Белая ночь надвигалась на город. Воробы перекликались в кустах. В березовых аллеях, укладываясь на ночь, серый дрозд посвистывал томно и нежно. Запах сада то вливался в комнату, то глушился терпким, крепким запахом табака. Старый и молодой Ранцевы расстегнули кафтаны. Белые камзолы выделялись в сумраке комнаты.

– Гляжу на тебя, Алексей, и не знаю, кем ты будешь? – сказал Ранцев-полковник.

– Та як же?.. Казали – певчим... Певчим и буду, – скромно ответил Розум.

– Нет, братец. Прозорливость моя говорит мне, быть тебе и поболее, чем певчим... И рост, и красота, и осанка!.. Тебе в гвардии солдатом быть. Ныне, конечно, не те времена... – Полковник вздохнул. – При Петре...

Алеша мягко улыбнулся и, коверкая русские слова и стараясь возможно понятнее изложить то длинное и сложное, что ему надо было сказать и что – он это чувствовал – не понравится полковнику, тихо проговорил:

– Господин полковник... Не маю ревности к военной службе и до смерти боюсь воинского артикула. Спивать – вот моя охота. Вчора его сиятельство, граф Левенвольд, изволил слушать, как я в капелле пел один и с хором, и сказывал: дуже гарно у меня идет. Он указал мне ревность иметь к чтению философов, к развитию ума, к изучению итальянского пения. Он сказал, что даст мне случай послушать придворных ее высочества французских певцов и знаменитых итальянских кастратов. Воинское искусство представляется жестоким нежному моему сердцу... Вот хвилосохвия...

Полковник перебил Алешу и не дал ему договорить. Он нетерпеливо стукнул кружкой. В словах Алешы он услышал то, что давно раздражало и заботило его. Этим миролюбием полна была вся теперешняя послепетровская жизнь. Об этом любили говорить в салонах Петербурга, и от самого двора Анны Иоанновны веяло этим желанием «перековать мечи на орала»... Вместо петровского живого дела пошла роскошь, «хи-хи», да «ха-ха», да вот эта самая философия. Полковник Ранцев, прищутив глаза, смотрел на Алешу. «Кто его знает, – думал он, – кем еще станет этот красавец певчий. Какая фортуна его ожидает?.. Молод, а туда же – о философии рассуждает, воинское искусство порицает... надо, пока не поздно, выбить из него сию дурь... Философию...»

– Есть мнимые философы, – с горечью сказал он, – которые укоряют Великого Петра жестокостью и бесчеловечием на войне и называют вообще воинов наших варварами. Но не всегда ли кровавы средства на войне? Высочайший нравственный закон равно ли действует, как на философа в кабинете, так и на гренадера, который возьмет штурмом батарею и еще бродит по колено в крови. При взятии крепости приступом, как брали мы Нарву, с великим уроном, легко ли сохранить чувство человечества?.. Вот отчего война бывает всегда жестока, и жестокость сия происходит от человеческой природы. Сколь любезно всемирное согласие и братство чувствительным душам! Так мечтали много веков философы и ныне о том восклицают!.. Но представим себе злополучные времена, в которые Россия страдала под игом варваров, когда поляки и татары, пользуясь изнеможением нашим, терзали отечество наше и целые российские княжества покорены были их подданству. Внутри раздирали сердце России самозванцы, раскольники, «стрельщики», разбойники, злодейства и предательства. С севера шведы

наводнили было Россию, где, ископав они гробы, в них и погребли себя невозвратно. С юга империя Оттоманская, по своему закону и духу правления, всегда была опасный враг России и вечный неприятель христиан. Прочти историю отечественную – и сердце обольется кровью, чувствительный человек потрясется в бытии своем, представив в живой картине все ужасы, понесенные Россией.

Старый Ранцев залпом выпил кружку пива. Белый свет северной ночи стоял в столовой. В углу у зажженной восковой свечи сидела Адель Фридриховна и, наклонившись над пальцами, вышивала гладью. Рита сидела у ее ног на маленькой скамейке-качалке и, расставив колени, держала в руках концы пальцев. Петр Ранцев неподвижно стоял у окна. Алеша облокотился на стол и глубоко задумался. Не все понятно ему было в словах полковника, но самый гром его слов захватывал. Полковник замолчал, и Алеша тихо спросил и сам испугался, что нарушил молчаливое шествие ночи:

– Ось подивиться! Что же дальше?

– Дальше?..

Полковник встал, Алеша медленно поднялся от стола и подошел к Петру Ранцеву. Под самый потолок уходила голова полковника и была освещена зеленоватым отблеском июньской ночи. Серый дрозд вопросительно просвистал в кустах сирени и, точно подзадоривая, спросил: «А дальше что?»

– Дальше?.. Поистине справедливо, что мы учинились оружием и промыслом славными, страшными и во всех частях света громкими. Российский народ есть прехрабрейший на свете, и с сей стороны никто не смеет опровергать достоинств наших. И в пределах России явились те, что в Риме были Сципионы, в Афинах Мильтиады, Фемистоклы, Аристиды, Фразибулы, Кононы-Ификраты и Тимофеи, в Коринфе Тимолеоны, и напоследок в Карфагене – Амилькары и Аннибалы, и у нас так же есть свои Курции, Кольберты, Ришелье и Марлбруги. Но да уступит нам древность, и да умолкнет баснословная ее пышность. Посвященные вечности Мемфисские пирамиды сокрушились, и ты, Колосс Родосский, разрушился и смирил свой прегордый вид. Слава наших героев не на баснословии основана, и нетленные поставляет она себе бессмертия пирамиды и обелиски – славные дела наши незатмеваемы пребудут. Ибо мы не собственной искали славы, но полагали оную в славе и благоденствии своих соотечественников и утверждали на любви ближних своих и на любви всего рода человеческого!..

Полковник Ранцев высоко поднял гордую голову и так громко стал заканчивать речь свою, что умолкли птицы в саду и эхо отозвалось о садовый забор:

– И доколе российский пребудет глаголющ на земли язык и письмена не истребятся – не истребятся наши пирамиды и хвалы, не истребит и не затмит славных и неподражаемых дел наших никакая едкость времени, никакие перемены света и никакая грядущих веков отдаленность!..

– Виват, – восторженно прошептала Рита. Полковник твердыми, широкими шагами вышел из горницы.

«Сентенции» Сергея Петровича, а еще того более незаметное влияние Риты шлифовали Алешу. Он уже говорил по-русски, лишь иногда вставляя малороссийские слова. Он проникся восторженным обожанием Петербурга и старого петровского двора, которым была полна вся ранцевская семья. Он начал все более и более интересоваться «цесаревичной», что явилась ему сказочным, сонным видением, когда проезжал он через Александровскую слободу под Москвой, и о которой говорили с почтительным восхищением и называли «искра Петра Великого», «наша солдатская дочь», «Преображенского полку капитан»...

В этом году по всему Петербургу дивно уродились ягоды. Не было сада на Васильевском или Петербургском островах, где не кипел бы на особом кирпичном очаге в медном, плоском тазу сахарный сироп и румяное от жара лицо молодой петербуржанки не склонялось к нему,

наблюдая, как опускаются и поднимаются в нем большие ягоды, пускающие прекрасный то розовый, то малиновый сок.

У Ранцевых вдоль забора с южной стороны в густых кустах бесчисленными длинными кистями, сердоликовыми сережками повисли ягоды красной смородины, их прерывали шпалеры прозрачной, восково-желтой ароматной белой смородины, а за ними висели громадные кисти, точно матовый виноград, черной.

У крыльца пылал в очаге, сложенном из кирпичей, огонь. На очаге под наблюдением Адель Фридриховны закипал сироп. Две дворовые девки и два денщика проворно чистили ягоды, которые им носили в корзинах Рита и Алеша. Вовсю шла варка варенья.

– Ну, довольно, довольно... Довольно, милая Рита, – ласково сказала Адель Фридриховна. – Ты совсем-таки замучила Алексея Григорьевича.

– Замучаешь такого верблюда... Ну да ладно!.. Идемте к качелям. Помните, вы мне пять фантов должны и ни одного еще не исполнили...

Рита в домашней «самаре», с маленькими фижмами, в юбке бледно-желтого цвета, с голубыми васильками по ней, церемонно присела, протянув худенькую руку, согнула ее призывно в кисти и томно, чему-то слышанному и виденному подражая, протянула, сердечком сложив губы:

– Туда!..

И быстро, быстро побежала по березовой аллее к высокому столбу, с которого свешивались толстые веревки. Она села в широкую холщовую петлю, уперлась маленькими ногами в песок и подняла худенький подбородок миловидного лица. В руке у нее был сорванный ею на бегу лист лопуха. Она обмахивалась им, как веером.

– Ска-ажите, – протянула она... Рита видала придворных дам цесаревны, она подглядывала в шелку на ассамблеях и куртагах и усвоила придворные манеры. – Ска-ажи-те?.. Вы умеете бегать на гигантских шагах...

– Нет, Маргарита Сергеевна, не потрафлю... Не учився...

– Не учився, – передразнила Алешу Рита. – Разве сему надо учиться?..

– Боюсь об столб шмякнусь... Расшибусь.

– Впрочем, – снизошла Рита к робкому хохлу, – нас мало. Вдвоем трудно бегать. Я люблю, чтобы меня заносили на распашном весле... Высоко, высоко... Выше дома... Вы знаете, мы так высоко летаем, что Неву видно...

– Ось подивиться!... Вы дюже храбрая.

– Послушайте... Сорвите вон ту кисточку.

Рита показала на молодую кисть черной смородины.

– Извольте, сударыня.

– Какая сие смородина?

– Черная.

Брови Алеши поднялись кверху. Прекрасные глаза смотрели с недоумением. Чего еще хочет от него эта лукавая девица?

– Черная?.. Так почему же она красная?

Алеша ничего не понимал. Он молчал, стоя перед Ритой с широко расставленными ногами.

– Потому, сударь, что она – зеленая. Вот и все! – Серебряными колокольчиками рассыпался веселый, задорный смех. Рита соскочила с петли и подбежала к Алеше.

– Становитесь рядом... Так... Вон, в конце аллеи – беседка, там пятнать нельзя... В горелки... Поняли? Слушайте: «Гори, гори ясно, чтобы не погасла... Глянь на небо – птички летят!..» – мерно, размахивая в лад рукою, запела Рита.

Алеша невольно вскинул вверх голову, в тот же миг Рита сорвалась и, мелькая ногами под развевающимся волаком платья, кинулась бежать по аллее. Алеша бежал за ней, раскачи-

ваясь. Куда там – догнать! Догонит вол легкую лань?.. Перед самым носом Алеши захлопнулась стеклянная дверка беседки, потом приоткрылась, и две девичьи руки с ягодным соком перепачканными пальчиками показали ему большой «нос».

– Пожалуй, сударь, сюда.

Дверь открылась. В беседке Рита сидела в кресле, обитом розовым рипсом.

– Сядьте напротив... Вы кто будете? Придворный?.. Придворный?..

– Певчий.

– Так... У вас есть братья и сестры?.. Сестры? Главное – сестры...

– Так... Маю братьев и сестер.

– Маю... Так не говорят... Неисправимый хохол!..

– А вы, Маргарита Сергеевна, москалька, – огрызнулся Алеша.

– У-у, какой! Я вас!.. Императрице пожалуюсь... Я не москалька, милостивый государь мой, а петербуржанка... Извольте сие запомнить, зарубить на вашем прекрасном носу... Итак – «маете» братьев и сестер. Кто да кто?..

– Старший брат Данило.

– Даниил... Так... Потом?..

– Що Кирила.

– Що! Оррер!.. Кирилл. Сестры?.. сестры?..

– Агафья, Анна, Вера...

– Боже, – всплеснула руками Рита. – Целое капральство...

– За что вы мне все говорите поносные и язвительные слова.

– Алексей Григорьевич, я вам не поносные и язвительные слова говорю, но учу вас, молодого, прекрасного хохла, как быть при дворе.

– Я при дворе?.. Но когда же я буду?..

– Но ведь вы – придворный?

– Певчий.

– А!.. Все равно!.. Вы можете попасть в случай. Если цесаревна вас услышит... Она так любит музыку и пение... Вам по-французскому надо учиться.

– Ось подивиться! Куда мне, Маргарита Сергеевна, я и по-русски-то все промахиваюсь.

– Подлинно, промахиваетесь... Я буду вас учить.

– Извольте, Маргарита Сергеевна... Премного благодарствую.

– Не на чем... Будем играть в «провербы».

– Що це такое?.. Николи того не бачив.

– Не бачив... Пусть!.. Впрочем, это вдвоем нельзя. Лучше попробуем в буриме.

У Алеши глаза вылупились.

– Я скажу два слова, а вы на них мне ответите стихом. Четыре строчки. В рифму. Вы знаете, что такое рифма?

– Ну, бачив... Рифма?.. То есть – склад.

– Итак...

По загорелому лбу Риты тонкими паутинками побежали морщинки. Не глубокие морщины старости, а тонкие морщинки ранней юности, когда кожа делает запас для растущего черепа.

– Скажем... Гадалка и купава...

Лицо Алеши стало таким беспомощным, что Рите стало жаль его.

– Гадалка?.. и купава... Гадалка?.. гадалка?.. скажем – прялка... Купава?.. ну – пава, что ли? Нехай буде пава.

– Слушайте, надо, чтобы смысл вышел. Так ничего – только слова, а надо стихи... Слушайте и запоминайте: Однажды мне сказала старая гадалка: «Когда распустится волшебная

купава И принесет тебе ее русалка, Ты береги цветок – твоя в нем слава!» Эх, жаль купавы под рукою нет. Я поднесла бы ее вам... Как русалка!

– Ах, як же!.. То ж прямо чудеса!

– Ладно... И менуэт вам надо уметь танцевать, и англес, и аллеман, и кадрили... Идемте. Дайте вашу руку. Да не так!.. Чуть коснитесь пальцами. Дама вас возьмет. Какая красивая рука!.. И сами вы молодец! Настоящий петиметр!.. Нет, что я, какой вы петиметр?.. Сколько в вас расту?

– У прошлой недели полковник у притолоки мерив. В вашем батьке без двух вершков сажень, Петра Сергеевич трошки помельче буде. Одначе два аршина десять вершков...

– Еще бы, – с гордостью сказала Рита, – первого батальона Преображенского полка! А вы?

– Два двенадцать...

– Тоже здорово!.. Какой же вы петиметр! Вы вельможа!.. Господи!.. Этакый рост!.. Такая красота!.. Вам надо в гвардию записаться. В Конный полк!.. Итак, – Рита, грациозно согнув на локте, опустила руку и концами пальцев приподняла юбку. – Повернитесь лицом ко мне. Первое па: полшага правой и полшага левой ногой. Не так!.. Совсем не так!.. Полшага!.. Пол!.. пол!! пол!!! Мелкий шаг. Теперь – правой ногой... Приподнимитесь на носки!.. Согните ногу... Плавно!.. Не дергайте ее. Под музыку и в ритм... Слушайте: раз, два, три!.. Раз, два!.. Ну, начинаем. Я вам пою... Слушайте такт!.. такт!! Ведь вы же певчий!.. придворный певчий!! У вас же должен быть слух!..

– Так я же лучше вам, Маргарита Сергеевна, на бандуре сыграю менуэт сей самый.

– Ладно, ладно... Теперь пойдем обратно. Слушайте: «Я вас так лю-блю...»

– Верить не могу...

– А, вы мне отвечаете?.. Каков! Сколько в сердце ран...

– Это все обман...

– С русскими словами у вас как-то ладнее идет. Вот тут вам присесть надо, каблуками прищелкнуть... Ну-с, дальше!

– Сердце, что костер...

– Это пламя – вздор...

– Судит пусть ваш дивный взор...

– Ей-богу, правда, по-русски у вас выходит совсем хорошо.

– Дюжа заплутався, Маргарита Сергеевна.

– Не отделаетесь, сударь, коль скоро я за танцы взялась.

– Нет, нет, нет, слова напрасны...

– Быть покинутой ужасно...

Так и шли они менуэтом по дорожке сада, усыпанной желтым речным песком, пока не наткнулись на рослого Преображенского сержанта, вдруг появившегося из боковой калитки.

Сержант был по-летнему, по-домашнему, – в одном белом камзоле с широкими кружевными рукавами, в зеленых штанах, в белых штиблетах и башмаках. Напудренный парик с косой был снят, и темно-русые волосы «по-петровски» обрамляли чистое загорелое лицо, ниспадая до плеч.

– Ну что, готовы? – весело крикнул сержант. – Ты так и поедешь, Рита? Хотя бы пальчики помыла.

– Я в реке ополосну.

– Алексей, тащи бандуру.

Адель Фридриховна принесла Рите суконную, сливочного цвета мантилью и шляпку, денщик подал Петру Сергеевичу голубую епанчу. Шестивесельная полковая шляпка ожидала их на Мойке. Зимней канавкой шли медленно. Засинели, заголубели широкие невские просторы, показались серые бастионы Петербургской крепости и белое здание собора, за ними зелень садов Люст-Эланта.

Рита сидела на руле, на алой суконной подушке, рядом с Алешей. Она положила «право руля», и шестерка стала плавно поворачивать против течения. Шли вдоль берега. В желтоватую, прозрачную воду глубоко уходили лопасти, и весла гнулись, подавая вперед нарядную темно-синюю, с золотым обводом лодку. Полковой, кормовой флаг развевался за спиной у Риты. Гребцы, преображенцы в алых камзолах, гребли ровно, сильно и мерно.

Набережная косыми рядами бревен плыла мимо них. В пазах, у воды, ярко-зеленой паутиной колебались водоросли. За деревянным, на столбах, забором стояли вплотную, прижавшись друг к другу, высокие каменные трехэтажные дома. Вдоль них, по набережной пешком, на двуколках, в каретах парой, четверней цугом, верхом на нарядных лошадях шли и ехали гуляющие. По Неве то и дело встречались ялики, шлюпки, парусные галиоты и яхты. Все, кто мог, пользовались хорошим теплым летним вечером. Большая двухмачтовая лайба, до самых бортов груженная досками, выбирала якорь, и отпущенный парус на грот-мачте, подтянутый вверху косою райной, полоскался белыми углами.

Пахло водой, смолой, цветущими липами и чем-то неуловимо нежным и свежим, чем пахнут вечерними, летними часами на невской шире. За спиной Алеши и Риты пылала заря. Розовые отблески ложились на камзолы гребцов и на их распущенные, без шляп и кос волосы, колеблемые ветром. Волны покрывались позолотой и певучими струями разбивались о борта лодки.

Тихо проплывал Летний сад в зеленых газонах, где ковровым узором росли цветы. Молодые липы, подстриженные шариками, стояли чинными шпалерами, дубы кудрявились веселой рощей перед петровским Летним дворцом. Его высокие окна пламенели, отражая солнечный пожар. Длинные деревянные галереи в колоннах были по краям и в середине сада. С них к воде спускались лестницы. У пристаней теснились причаленные лодки. В средней галерее в розовом вечернем свете показалась во всей своей таинственной красоте статуя прекрасной Венус, привезенной Петром из Италии. Алеша стыдливо отвернулся от ее дивной наготы. В широкой аллее золотоцветных акаций били фонтаны.

Петр Сергеевич рассказывал, как садили ту или другую аллею, как привозили заморских птиц и зверей в зверинец при Летнем саду, какие где были гроты и статуи.

– Та площадка называется «дамской». На ней сиживала императрица Екатерина со своими дамами в летние жаркие дни, а та, дальше – «шкиперская», там за фонтанами стоит статуя Веры с закрытым лицом, еще дальше за ней будут клетки птичника.

У Литейного проспекта, среди порубленного леса стояли редкие сосны. Их стволы были точно обернуты в золотисто-розовую фольгу. Между ними штабелями лежали тела чугунных пушек – тут был литейный двор. Напротив, на Выборгском берегу, рос густой сосновый лес, и там, у реки, на расчищенной площадке правильными рядами белели палатки артиллерийского кампанента. Река загибалась на север. Уставшие гребцы гребли по очереди. Алеша звенел струнами на бандуре и пел нежным тенором про Палия и Мазепу:

Пише, пише та, гетьман Мазепа,
Ой, до того недиждав.
Щоб я свою православну виру
Тай пид ноги подтопав.

Рита сидела, опустив руку в воду и не управляя лодкой. Большие светло-голубые глаза смотрели вдаль, на восток, где изумрудно было небо и где в вышине стадами-табунами, перламутровыми раковинами застыли над холодеющим небом прозрачные облака-барашки.

Пише, пише та, гетьман
Мазепа, да до Семена листи:

«Ой, приидь, приидь, Палию Семене,
Та на банкет до мене...»

И Петр, и Нева, и Мазепа, и какой-то Семен Палий, о котором Рита никогда не слыхала, и далекая Малороссия, откуда приехал этот милый хохол, и его мягкое пение, и только что в саду напетый ею старый французский менуэт – все было в полной гармонии с перламутрово-золотыми барашками, медленно таявшими на ее глазах, в прозрачно-зеленой вышине. Все сливалось с невской глубокой ширью в раме берегов в мелком сосновом лесу.

Подлинно – Парадиз земной – Петрова отрада!..

Не доходя до Александро-Невского монастыря, повернули обратно. И только прошли Охтенскую крепость, как Петр Сергеевич показал глазами Рите, чтобы она обернулась назад.

– Смотри!.. Отец!..

Белая шестерка с золотым обводом, с бело-сине-красным флагом за кормой, не спеша, деловито выплывала из Охты и шла за ними. Рита оглянулась и тотчас узнала шлюпку Ладожского полка и отца на руле.

– Не догонит, – сказала она.

– Подождем, – бодро и с вызовом кинул сержант и скомандовал: – Суши весла...

Но ладожская шестерка не торопилась, их же лодку сильно несло течением, и казалось, никогда они не подравняются.

– На воду!.. – крикнул Петр Сергеевич. – Табань!..

– Ой... – болезненно охнула Рита, – что с тобой, ход потеряем.

– Ничего... Преображенцы все равно нагонят.

Лодка остановилась, медленно пошла назад, вверх по течению. Ладожцы догнали и сейчас же легко и далеко обогнали преображенскую шлюпку. Щеки Риты покрылись темным румянцем. Старый Ранцев понял маневр сына и негромко сказал что-то своим гребцам. Ладожцы налегли на весла, и их лодка понеслась, все дальше уходя от преображенцев.

– Ну вот, ну вот, что же сие? – со слезами в голосе воскликнула Рита. – Я же говорила... Теперь все пропало и начинать не стоит.

– Навались, – спокойно скомандовал Петр Сергеевич.

Алеша заиграл на бандуре.

– Ах, не играйте вы! – с досадой крикнула Рита. – Не до песен теперь...

Четырехаршинные легкие весла с плеском опускались в воду, шестерка зарывалась носом в волне. С каждым взмахом весел она мощно раздвигала вдруг забурлившую под ней воду, расходившуюся широкими серебряными полосами к берегам. За рулем в жемчужных пузырях клубилась далеко уходящая струя. Впереди солнце заходило за леса островов, и румяная заря горела вполнеба.

Волнение Риты передалось Алеше, и он теперь ничего не видел, кроме белой лодки Ладожского полка, за которой реял и шумел цветной русский флаг.

– Навались!.. Навались!.. Навались!.. – сама того не замечая, сухими губами бормотала Рита в такт гребцам. Она туго натянула шнуры, подавалась корпусом с гребцами и не сводила потемневших глаз с белой спины отцовского камзола.

Не уменьшалось расстояние между лодками. Они уже пронесли мимо Артиллерийского двора и приближались к Летнему саду.

– Сильнее, сильнее, братцы!.. Нажми!.. Еще, еще!.. По чарке водки, коли обгоните, – хриплым голосом подбодрял гребцов Петр Сергеевич.

Каблуки его башмаков впились в планку. Вода захлестывала за борта и плескалась у ног Риты, промачивая шелковые башмачки. На бревенчатых плотках, которые они обгоняли, плотовщики в пестрых рубахах махали черными валяными шапками и кричали:

– Не осрамись, преображенцы!.. Не сдавай ладожцам.

На набережной, у дворцов, заметили гонку, и народ толпился у деревянного парапета. С берега неслись крики:

– Преображенцы!.. Преображенцы!.. Еще самую малость, преображенцы!..

– Ой, ладожцы, родные!.. Ладожцы, сильней!..

По этим крикам Рита вдруг поняла: они нагоняют. Она точно очнулась от какого-то сна и облегченно вздохнула. Проясневшими глазами посмотрела она вперед и увидала вдруг в совсем неожиданной близости отцовскую шляпку. Ладожцы сбились с такта, пошли наперебой, зачастили.

– Виктория!.. – звонко крикнула Рита. Их шляпка проносилась мимо ладожцев.

– Суши весла, – скомандовал Петр Сергеевич, и по его команде «весла!» гребцы вынули весла из уключин и подняли их отвесно, лопастями вверх, отдавая честь побежденному. Старый Ранцев сделал то же и снял шляпу, кланяясь сыну-победителю.

Так и мчались они, один за другим, чуть колышась на волнах полноводной Невы.

– Ай молодца! – крикнул полковник Ранцев. – По-петровски!.. Отца обогнал!..

С набережной кричали:

– Виват, преображенцы! Виват!!

Старик рыбак с круглой низкой бадьей, накрытой сетью на голове, остановился и сказал сокрушенно:

– Ай мои ладожцы, ить проиграли преображенским!..

– С Ладоги, что ль, старик?

– С самой я Ладоги!.. И очень сие мне даже досадно!..

Теперь плыли спокойно: впереди голубая преображенская шляпка, за нею белая ладожская. Рита положила «руль налево», и их лодка, описав красивую дугу, вошла в Зимнюю канавку и пошла к Мойке. Полковник сзади кулаком грозил во весь рот улыбавшемуся сыну.

На Мойке, у причалов, под развесистыми вербами было темно и пахло водой и тиной. В глубине сада светились огни окон. На застекленном балконе, за чисто накрытым столом сидела, ожидая мужа и детей, Адель Фридриховна. Китайского «порцелина» прибор стоял перед ней на подносе, и в хрустальной чашке благоухало ванилью свежее красносмородиновое варенье. – Видал такие вещи, Алексей, – сказал полковник, подавая Алеше чашку.

Алеша с обветренным лицом, – ему казалось, что пол под ним колышется, – счастливый счастьем Риты, рассматривал пестрые тонкие чашки и блюдца китайского фарфора и низкий пузатый чайник.

– Ось подивиться. Гарненько слеплено!.. Николи не бачив, – сказал Алеша и вызвал громкий, радостный смех Риты.

– А ныне по причине пресмыкающихся взад и вперед в течение лета наших кораблей все сие имеем. Вот как от шляпочной нашей забавы – до чего дошли!.. А все он! Все Петр наш Великой!

III

Преображенский полк вышел на ученье на поле против Адмиралтейства. Было тихое октябрьское утро. Туман навис над городом, золотая адмиралтейская игла скрылась, точно растворилась в нем. Резок был стук редких в этот утренний час извозчицких двуколок по булыжной мостовой. Поле, которое весной в первый день своего приезда в Санкт-Петербург Алеша видел покрытым яркой весенней травой в белом и золотом цвету, было буро-серым, истоптанным людьми и лошадьми. Длинные и темные лужи тянулись тут и там, и лишь по краям лохматилась высокая, спутанная, как волосы на голове пьяницы, побуревшая осенняя трава. С подстриженных лип бульваров Невского проспекта последние опадали листья и ложились бронзовым узором на коричневый песок сырых пешеходных дорожек. Казалось, что и белые

стены Адмиралтейства набухли сыростью. За ними не было видно кружевного такелажа судов: корабли ушли в море, навигация кончилась.

Разошедшийся по капральствам Преображенский полк малыми группами занял все поле.

Бравый сержант Ранцев, в каске с медным налобником, с помпоном наверху, в седом напудренном парике, с длинной алебардой в руке, с тростью, засунутой за подшпиленные полы мундирного кафтана, в белых холщовых щиблетах, застегнутых бронзовыми пуговицами, обходил капральство. Люди стояли «вольно». Шла проверка словесного обучения по регламенту Петра Великого. Ранцев воткнул алебарду железным наконечником в землю и, вынув трость из-за кафтана, прикоснулся ею к груди солдата, которому задавал вопросы. Все это были его рекруты... Впрочем, какие они были рекруты-новички? Почти год терпеливо и настойчиво обучал он их, и если бы не наряды на городские караулы и на бесчисленные строительные работы – весь Петербург наново строился, и строили его по-прежнему солдаты – как бы он их еще приготовил!..

– Микита Мяхков, доложи мне, что есть солдат?

Никита Мяхков, парень саженого роста, пожевал пухлыми, детскими губами, то приподнимая, то ставя на землю тяжелый мушкет, казавшийся в его руках тоненькой тростинкой.

– Что есть солдат? – повторил он негромко и сейчас, точно припомнив что-то радостное, быстро стал отвечать, широко улыбаясь: – А солдат есть имя знаменитое. Имя солдат содержит в себе, просто сказать, всех людей, которые в войске суть, от первеющего енерала даже до последнего мушкетера, конного али пешего.

– Ладно. – Ранцев сделал шаг вдоль шеренги и остановился против миловидного юноши с тонкими чертами чистого, бледного, породистого лица.

– Де Ласси, что полагается за смертоубийство?

Юноша, почти мальчик, вспыхнул розовым румянцем смущения и, чуть заикаясь, стал отвечать:

– Кто отца своего, мать, дитя во младенчестве, равно кто офицера наглým образом умертвит, оного надлежит колесовать.

– Таким образом, де Ласси?

– Император Петр Великий приравнял офицера к самым близким и дорогим человеку существам: отцу, матери и малому ребенку.

– Чем будешь заканчивать поучение подчиненным солдатам, когда будешь капралом?

– Буду говорить: Богу Единому слава!

– Точно.

В этот тихий осенний день Ранцеву хотелось, чтобы ему отвечали хорошо, и он нарочно выбирал наиболее толковых гренадер.

– Артемий Колчюга, что знаешь о знамени?

– Понеже кто знамя свое или штандарт до последнего часа своей жизни не оборонит, оный не достоин есть, чтобы имя солдата имел.

– А служить как будешь, Недоросток?

Яков Недоросток был без вершка сажень и даже на очень высокого Ранцева посмотрел сверху вниз и пробурчал густым басом в октаву:

– Служить надлежит солдату честно, чисто и неленостно, но паче ревностно.

– Ахлебаев, доскажи, что еще затверживал о службе?

– От роты и знамени никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, непременно добровольно и верно, как мне приятна честь моя и живот мой, следовать буду.

Ранцев внимательно посмотрел на солдата. Вряд ли гигант Ахлебаев отчетливо понимал, что значит – «приятность чести и живота». Солдат, не мигая, смотрел в глаза сержанта. «Лишь бы исполнил, а там не все ли одно. Может быть, до головы и не доходит, да в душе зато крепко

сидит», – подумал Ранцев и, довольный ответами капральства, отошел от шеренги, взял алебарду в руку, молодежато пристукнул ею о землю и скомандовал:

– Слушай!

Шеренги стали «смирно», солдаты устремили глаза на юношу сержанта.

– Каблуки сомкнуты, подколенки стянуты, солдат стоит стрелкой...

Ранцев окинул взглядом свое капральство. Стрелками стояли его гренадеры.

– Де Ласси, отбей крепче колени... Ахлебаев, пузу убери... Равняйся!.. Четвертого вижу, пятого не вижу.

В три прыжка Ранцев очутился на правом, потом на левом фланге, выравнивал капральство.

– Слушай! – скомандовал он снова. – Метать артикулы. К приему!.. На пле-е-чо!.. ать... два... три!.. Шай на кра-ул!.. ать... два!.. Звонче делай прием. Приударь по суме! Вот так!.. На пле-чо!.. Положи мушкет!.. Оправься!

Медные антабки, чуть ослабленные в кольцах, звенели с каждым приемом. Ружья легко летали в руках у гренадер, точно они и веса не имели. Ранцев дошел до своего любимого состояния командного упоения.

– Слушай! Мушкет к заряду-у! Без темпов: открой полку! Примерно: сыпь порох на полку! Закрой полку! Перенеси мушкет на левую сторону, приклад поставь на землю! Вынь патрон! Примерно: скуси патрон! Клади в дуло! Вынь шонпал, ать, два! Окрачивай к груди! Примерно: набивай мушкет! Вынь шонпал! ать, два... Три-и-и!.. Окрачивай коло груди. Клади в ложу! Подыми мушкет на краул! Вводи курки, кладь! Прикладывайся не к щеке, а к плечую! Мушкет держи ровно, чуть нагнувшись наперед... Стреляй!..

Ружейные приемы шли гладко. Ранцев дал людям оправиться. В соседнем капральстве старый, с серебряной медалью за Полтавскую баталию на шее, сержант производил ученье «с богинетом». Его мрачный бас далеко несся в туманном воздухе.

– На ру-у-ку! Коли в четыре оборота.

Сильно по земле топали «на выпаде» люди. Ранцев вызвал перед фронт капрала Наерина – за «флигельмана» и скомандовал:

– Слушай! Метать артикулы по флигельману, без команды! Зачинай!

Наерин, старый, опытный капрал, моргнул глазами и стал выбрякивать ружьем, – взял «на руку» – и капральство в те же счеты, угадывая прием, взял «на руку», взял «на плечо», «на караул», «на молитву», «от дождя», «к ноге», «на погребение»...

Два раза сбились, пришлось отставать, опять делали приемы, и уже тяжелые капли пота показались из-под пудренных мукой париков и потекли по загорелым скулам.

По полю бежали «фурьеры» со значками из алой китайки и с номерами рот, нашитыми на них. Капральства сводились в общий строй всего полка. Готовилось полковое ученье.

Грозной массой в четыре плотно сомкнутые шеренги стали гренадеры и мушкетеры. Ранцев растворился и исчез в их густом строю, почувствовал себя песчинкой морской, крошечным винтиком громадного механизма. От строя шел глухой шум. Звенели «багинеты», брякали кольца ружей, цеплялись патронные сумы, ворчливо перебранивались вполголоса гренадеры, устанавливаясь в строй. Полковник с длинным партазаном в руке стоял против фронта, дожидаясь, когда все капральства займут места, образуя роты, и когда майоры возьмут над ними команду.

Строй постепенно затихал и замирал в положении «смирно».

Полковник звонко скомандовал:

– Слушай!..

Команду повторили по батальонам: «Слушай!.. слушай!.. слушай!..» Все замерло. Люди притаили дыхание.

– Равняйся!..

И опять: «Слушай!..»

Мертвая тишина стала над полем. Полторатысячный полк замер длинной и густой линией строя. В туманном воздухе отблескивали медные налобники шапок. Полы кафтанов лежали недвижно. Широкие красные обшлага рукавов протянулись вдоль фронта алой лентой. Линия белых галстуков рядовых прерывалась черными точками офицерских шарфов. Там над строем стальным блеском сверкали широкие лезвия алебард.

– Слушай! Будет учинен батальон де каре!.. – командовал полковник. – Правое крыло швенкуйся налево, левое швенкуйся направо!.. Средние две части подавайтесь к вашим надлежащим местам и смыкайтесь!

Майоры заголосили по флангам.

– На-пра-во!.. Ступай!.. На-ле-во!.. По-прежнему!.. Стой!.. Стой!..

– Отставить, – свирепо крикнул полковник. – Что за галдеж!.. Почему вторая рота пошла вразнобой с третьей?.. Не равномерно подаете команды!.. Аттенции мало!.. Потрудитесь смотреть на мой знак! Зачинайте сначала!.. Барабанщики, бей!..

Тяжкий хруст шагов слился в мерную гармонию. Фронт сломался, выпятился вперед, осадил назад, зашел плечами и – грозная квадратная крепость, составленная из людей, стала на поле. На Невском бульваре, у Адмиралтейства и у Мойки, кучками толпился народ, любовавшийся солдатами. Барабанщики били «раш», когда роты заходили на свои места и, отбивая шаг на месте, выравнивались.

– Первая шеренга, примыкай штыки, задняя, приступите!.. Первые шеренги, на колено!..

Созданная из человеческих тел крепость опоясалась линией штыков и стала неприступной.

– Вот при Петре, – говорил старый человек в рваном камзоле, стоявший впереди толпы на Невской перспективе, – того не было, чтобы отставлять, если не с ноги пошли. Петр, он требовал быстроту. С того у его и победы всегда были. Нонеча – немец. Ему быстрота – ничто... Ему прием подавай, чтобы цирлих-манирлих все было... Вишь, и опять отставили. Чего не пондравилось? Зря только людей морят. Глянь!.. Вон и на спину кое-кого вздели... Капральская палка загулела по солдатской спине... Вишь, не в такту ему взяли. Страшно смотреть, как дуют!.. Немецкие-то обычаи!.. Э-эх!..

Кругом молчали. Кое-кто отходил подальше. Опасный по нынешним временам человек. Бывает и так, сам говорит и сам же поглядывает, кто ему сочувствует, чтобы на того донести. Он-то свой – сухим из воды выйдет, а ты доказывай, что это он говорил, а ты только слушал... Можно и самому на солдатскую спину взлететь и капральской палки испробовать.

Между тем живая крепость распалась на роты, сломалась, и под грохот и треск барабанов опять вытянулся прямой развернутый строй в четыре шеренги построенного полка. Дали оправиться.

Полдень был близок.

Все так же сер и печален был осенний день. Адмиралтейская игла совсем утонула в темных тучах.

Роты повернули направо, взяли «на плечо», построили взводную колонну, вызвали по ротам песенников. Полк потянулся по Большой Немецкой улице к Летнему саду.

Артемий Колчюга завел далеко несущимся в тихом воздухе звонким тенором:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши отцы?

Песенники дружно, могуче, так что грозным эхом отдалось о хоромы вельмож, ответили с присвистом, уханьем и выкриками:

Наши отцы – бравы полководцы,

Во-от где наши отцы...

Мерным шагом батальоны шли мимо Летнего сада. Колчюга расспросил уже «солдатушек» про всю их родню. Наши матки – были – белые палатки, наши дети – пули да картечи, наши сестры – штыки, сабли востры, наши теткы – две косушки водки... Колчюга все тянул песню, точно выжидая чего-то. Справа над Царицыным лугом показался Летний дворец, где иногда жила цесаревна Елизавета Петровна. Все поглядывали на крайнее окно. Вдруг в нем отодвинулась штора, раскрылась настежь рама, и в ней, как картина, показался стройный высокий капитан Преображенского полка. Стало видно полное, круглое лицо с маленькими губами, ямочки на щеках, большие синие глаза и волосы, ударяющие в бронзу... Лицо приветливо улыбалось преображенцам...

Колчюга довел голос до предела силы и звонкости:

Солдатушки, бравы ребятушки, —

выводил он с особенной тщательной чеканкой каждого слова.

Кто вам краше света?

Хор, чем-то возбужденный и взволнованный, ответил:

Краше света – нам Елизавета,
Кто вам краше света?

Стеклянное окно тихо закрылось, штора медленно задернулась. Капитана с круглым девичьим лицом не стало видно. Мощный хор ревел на весь город, удаляясь к слоновьему двору:

Краше света – нам Елизавета,
Во-от кто краше света!..

IV

28 января 1732 года в высокаторжественный день рождения императрицы Анны Иоанновны, в половине двенадцатого часа в придворной церкви Сретения Господня началась Божественная литургия.

Алеша Розум давно готовился к этому дню. Заведующий капеллой, уступая, с одной стороны, влиянию модных итальянских опер, разыгрываемых при дворе императрицы, и итальянскому пению на куртагах у цесаревны Елизаветы Петровны, с другой, будучи под впечатлением малороссийского пения певческого хора цесаревны, в строгий «знаменный» распев церковного пения литургии, где со времен блаженные памяти патриарха Никона все было установлено и согласовано: возгласы священника, ектении диакона, чтение дьячка и пение клира, где лик небесный «пел и глаголал» и где не только слова, но ни единой ноты нельзя было изменить без того, чтобы не последовало упрека в ереси и нарушении церковных канонов, внес некоторые улучшения. Двор императрицы состоял из немцев, сама императрица, веселая и жизнерадостная, любящая блеск и все иностранное, далекая от «древлего благочестия», не разбирающаяся в канонах, конечно, не обратила бы на эти вольнодумства внимания, цесаревна, вылепленная из петровского теста, где столько было протеста против старинных обычаев, окруженная

молодежью и французами, только приветствовать могла всякую новизну, всякий новый шаг за прорубленное ее отцом окно в Европу, притом она была музыкальна и любила красоту в пении, и потому с ее стороны нечего было опасаться критики или замечаний за отступление от старины. Прельщенный голосом Розума регент внес в Херувимскую и «Отче наш» нечто вроде малороссийского «запевка». Розум должен был начать и вести все песнопение один, под сдержанный аккомпанемент хора. Это было большое вольнодумство, и граф Левенвольд и регент очень волновались, как это сойдет.

Успокаивало их лишь сознание красоты голоса молодого хохла, прельститься которою должны были все и прежде всего ценительница красивых голосов цесаревна. Меньше всего волновался сам Розум. Одетый в длинную, красную, шитую золотыми галунами парадную певческую ливрею, с рукавами, закинутыми за плечи и висящими за спиной, с широким, в галуне кушаком, тщательно выбритый, в белой косе, он спокойно раскладывал на клиросе ноты, испещренные крючками и пометками. За окном в морозном узоре сияло бледно-голубое зимнее небо и блистали на Неве глубокие январские снега. Весь Петербург, острова, залив укутались овчинным тулупом снегов. За окном трещал мороз, в церкви были растоплены две голландские печи, и душное тепло было пропитано запахом ладана, деревянного масла, восковых свечей и ароматом дворцового курения. Маленькая церковь по случаю высокаторжественного дня была полна. Еще шла только проскомидия, и чтец быстро вычитывал на клиросе положенные молитвы, а уже толпились в ней вельможи, сенаторы и первые чины двора в пестрых и ярких кафтанах, придворные дамы в широких фижах шелковых парадных «роб». Впереди было оставлено место для императрицы.

Когда чтец умолк, и перед иконостасом неслышно появился священник с диаконом, и начали кадить иконами, и в церкви наступила тишина, нарушаемая негромким разговором собравшихся вельмож и дам, за дверью раздался легкий стук церемониймейстерской трости, все обернулись к дверям: в них показалось шествие. Императрица Анна Иоанновна, сопровождаемая цесаревной и первыми чинами двора, медленно и торжественно, отвечая легкими кивками головы на поклоны, следовала в церковь.

Императрица была среднего роста и уже теперь очень полная. В завитых черных волосах была небольшая императорская корона, сделанная из бриллиантов. Темно-красная «роба», с драгоценным кружевом на низком вырезе груди, делала ее еще более полной и величественной. На груди висела цепь Андрея Первозванного. Громоздкая, в тяжелом, парадном наряде императрица прошла вперед к золотому креслу на малиновом ковре и стала, опираясь на его спинку. Слева от нее и на полшага сзади стал герцог Бирон, а за ним пестрым, сверкающим драгоценными камнями рядом стали: статс-дама графиня Авдотья Ивановна Чернышева, две сестры Салтыковы, ближние фрейлины императрицы, ее шуты и приживалки.

Розум через головы альтов и дискантов отлично мог рассмотреть императрицу и весь ее двор. Он увидел, как самостоятельно и как-то в стороне от других прошла в церковь высокая, нарядно одетая девушка и стала истово креститься на иконы у Царских врат. Розум сейчас же признал ее. Только раз и в совсем необычной обстановке он видел эту красоту несказанную. Это и была та цесаревна сказки, что показалась ему, точно сонное видение, которое так поразило его мать. И уже не мог он оторвать от нее зачарованных ею глаз.

Так вот она какая! Простая и вместе с тем какая величественная!.. Серьезно, по-православному, по-крестьянски, усердно помолившись, она прошла неслышными шагами вперед и стала рядом с императрицей. Напудренные белые волосы ее нежными завитками локонов спускались к белому мрамору плеч безупречных линий. В ушах бриллиантовые серьги, небольшая диадема из крупных камней в волосах отражали огни свечей и вспыхивали, как ночные светляки в траве. Светло-голубое платье из парчи было перетянуто наискось орденской лентой, алмазная звезда была под левой грудью. Девственно прекрасна, стройна и нежна была она в этом дорогом и драгоценном наряде. Она подняла голову к образам, и стали видны глаза див-

ной красоты, синие, как море в ясный солнечный день, опущенные длинными ресницами. Их точно звездный блеск показался Розуму совсем необычайным.

Священник сказал возглас, хор пропел:

– Аминь.

Розум молчал. Дьяк не спеша, мерным, ровным басом читал ектенью, и хор сдержанно, как поют в дворцовых церквях, пел: «Господи, помилуй». Розум все молчал, точно и впрямь околдованный неземной красотой и царственным величием цесаревны.

Его сосед толкнул его в бок и шепнул:

– Розум, да ты обалдел, что ли, приди в себя.

Только тогда Алеша начал соображать, где он. Он увидел, что позади цесаревны стояла бойкая, не очень красивая девушка, что она смотрела на него, пожалуй, так же внимательно, как он смотрел на цесаревну. Она стрельнула глазами. Розум потупился, девушка подняла глаза, скосила их и улыбнулась. Алеша уткнулся в ноты. Запели псалом:

– Благослови, душе моя, Господа.

За душу берущий тенор Розума выделялся из хора. Прекраснее, чище, сосредоточеннее, углубленнее в молитву стало лицо цесаревны.

Херувимскую Розум пел, все позабыв, сам умиляясь своему голосу, который звучал, как самая прекрасная скрипка. Как сквозь какую-то дымку увидел Алеша, как нагнулась в низком коленопреклоненном поклоне цесаревна и, когда выпрямилась, в глазах ее, как роса солнечным утром, блистали слезы.

Торжественно, умирительно тихо было в церкви. Ни один звук не проникал извне. За окнами ослепительно блистали позолоченные солнцем снега невской шири.

Кончилось многолетие. Колыхаясь юбками тяжелой «робы», императрица пошла ко кресту. Приложившись к нему, она стала в стороне и ожидала, пока «духовные персоны чинили Ее Императорскому Величеству поздравление и были допущены к руке»... Певчие оставались на клиросе. В церкви был гул праздничных разговоров. По принесении духовенством поздравления императрице началось шествие в галерею, где ожидали Ее Величество «приезжие обоего пола персоны».

Певчие попарно, маленькие впереди, стали выходить из церкви. У дверей в галерею стояла цесаревна с графом Левенвольдом.

Когда Розум с ними поравнялся, Левенвольд сказал:

– Алексей Розум, ступай сюда.

Алеша остановился в шаге от цесаревны. Ее лицо было серьезно, и только в глазах играла веселая и добрая усмешка.

– Это ты так славно пел? – сказала приятным и звучным голосом цесаревна и с головы до ног оглядела Алешу. Тот смутился. Густой румянец покрыл его смуглое лицо. Он вспомнил уроки Риты и молча поклонился.

– Я люблю хорошее пение, и я им избалована, – продолжала цесаревна. – Лучше молишься, когда слышишь такое пение, как твое. Душа уходит от земли...

От глаз улыбка спустилась к подбородку, и на мгновение чуть дрогнули уголки маленьких пухлых губ.

– Я тебя видала, Розум... Помнишь?..

Алеша еще гуще покраснел.

– В селе Александровском мы хороводы водили, а ты тем часом ехал в телеге с козацким полковником.

Повернувшись к Левенвольду, цесаревна заговорила с ним по-французски. Левенвольд сделал Алеше знак, и тот пошел догонять певчих, уже спускавшихся с лестницы. Придворные сани-линейки ожидали их. Алеша укутывался в черный плащ и рассеянно слушал, что говорили вокруг него певчие. Сердце его трепетало, какое-то пламя полыхало в нем. Оно было

полно обожания цесаревны и готовности все отдать ей. Ему теперь стало понятно то преклонение перед ней, которое он все эти дни видел в Петербурге. Цесаревна по-французски просила графа Левенвольда уступить ей прекрасного певчего, и граф не мог ей отказать.

Алеша сменил красную ливрею императорского певчего на ливрею брусничного малиново-бурого цвета певчих цесаревны и переехал из придворной капеллы в Смольный цесаревнин дом. В нем нашел он многих своих земляков. Духовником Великой княжны был священник украинской ее вотчины – села Понорницы – Федор Яковлевич Дубянский, в хоре пели малороссы Тарасович и Божок, камер-лакеем у цесаревны был Иван Федорович Котляревский, секретарем Петр Минович, с ними в комнате помещался слепой бандурист Григорий Михайлов. Как в родную семью попал к ним Розум. У них не переводились горилка и сало. Малороссийские песни не смолкали на их половине. После спевок они валялись на постелях, играли в шашки и в карты, слушали, как играл на бандуре и сказывал старые малороссийские «думы» Михайлов.

Частенько хаживал Розум и к Ранцевым. Он и сам себе не хотел в этом признаться, но сильно затронуто было его сердце бойкой Ритой, которая давала ему первые уроки петербургской жизни. Связь с домом Ранцевых не прерывалась еще и потому, что цесаревна частенько устраивала у себя солдатские ассамблеи, на которых постоянным посетителем бывал сержант Ранцев и где танцевала с фрейлинами цесаревны Рита.

В ближайшую ассамблею, на Масленице, в февральский вечер, были позваны все певчие цесаревны. Большая зала в нижнем этаже, со сводами, была тускло освещена свечами. Длинные столы были накрыты для ужина. На оловянных блюдах были положены жареная говядина, телятина, ветчина, тетерева и глухари цесаревниной охоты, аршинные стерляди из Волги, невские сиги, грибы в сметане, кабанья голова в рейнвейне. В графинах толстого стекла искрились «приказная» – прозрачная, «коричневая» – на корице, «гданская» – на мяте, «боярская», что слеза чистая и такая крепкая, что слезу вызывала – водки, ратафия, рейнские вина, сект, базарак, корзик, венгерское, португальское, шпанское, бургонское, пиво, полпиво, меды – все было сделано не хуже, чем при большом дворе.

Ассамблея началась поздно, в восьмом часу. Собрались унтер-офицеры гвардейских полков, певчие и камердинеры цесаревны, ее фрейлины, всего было человек тридцать. За стол долго не садились. Кого-то, как догадывался Алеша, дожидались, но кого, Алеша о том не спрашивал.

Сержант Ранцев совещался с тонким, худощавым адъютантом Преображенского полка Грюнштейном.

– Вряд ли она сегодня пожалует, – говорил Грюнштейн. Он был в белом парике, скрывавшем его черные волосы. Саксонский еврей, он несколько лет был в полку и хорошо в нем прижился.

– Она нам обещала. Видишь, сколько народа позвано. Никогда она не манкировала такими большими ассамблеями, – говорил чем-то озабоченный Ранцев.

– Я говорю тебе, смело можно садиться. Ты сам знаешь, как точна она. Да я и знаю нечто, что могло ей помешать прийти к нам. Посмотри, как наши дамы хотят скорее отужинать и танцевать.

– Как хочешь, но я бы еще подождал, – нерешительно сказал Ранцев.

– Уверяю тебя, ни к чему. Она не придет, – и, повысив голос, Грюнштейн крикнул: – Камрады и дамы, прошу милости садиться к вечернему кушанью.

Стали усаживаться на длинные скамьи и на табуреты. Дамы садились «по номерам», как то делалось при большом дворе, и имели своими кавалерами тех, кто им достался. Рита сидела рядом с высоким красноносым семеновцем, та фрейлина, которая в церкви делала глазки

Розуму, Настасья Михайловна Нарышкина, оказалась рядом с Розумом. Против него оставили пустое кресло.

Как-то очень скоро, под влиянием водки, которой каждый отдавал честь, стало шумно и весело за столом. Тут, там вспыхнула песня, ее поддержали хором, потом оборвали. Нарышкина нагибалась к Алеше и, обдавая его запахом пудры и французских духов, шептала ему комплименты, чем приводила бедного хохла в сильное смущение. У него даже начинала кружиться голова. Шум, гам, крики нарастали. Несмотря на присутствие фрейлин, срывались солдатские слова, и Алеша, застенчивый, как все малороссы, краснея и смущаясь, косил глазом на соседку, та ничего – глазом не моргнет, только еще веселее и заразительнее смеется.

Сосед Риты Ранцевой, рослый капрал-семеновец, поднял руку в голубом обшлаге, приглашая к вниманию, и пьяным баритоном завел на весь стол:

Ива-а-анушка-мушкетер...

Солдаты со всех концов стола, широко улыбаясь, поглядывая на дам масляными глазами, дружно и мощно подхватили:

Мушкетер, мушкетер...

– Ну, вот, что задумали петь, – сказала Нарышкина, – стыда у них нет... Солдатчина грубая... Если так пойдет, мы все уйдем.

Песня продолжалась:

На полатах ба...

И сразу на полуслове оборвалась. Так гаснет свеча, когда на нее дунут.

Высокая дверь, ведущая в коридор и на лестницу, распахнулась на обе половинки, за нею показались два арапа-мальчика в красных суконных кафтанах, расшитых золотом. Они несли каждый по тяжелому бронзовому канделябру о пяти зажженных свечах. Сразу посветлело в зале. За арапами шел молодой француз, медик Лесток в светло-синем кафтане, а за ним стройный и прекрасный капитан Преображенского полка, в узком мундире, в лосинах, обтягивающих полные ноги, в белом парике с тонкой косицей с черным бархатным бантом, с обворожительной улыбкой на губах – цесаревна.

Необычайный, неподдельный, искренний восторг охватил всех собравшихся.

– Виват, цесаревна Елизавета!.. – дружно крикнули солдаты.

– Виват, Елизавета Петровна!.. – подхватили дамы.

– Виват!.. Виват!.. Виват!!!

Цесаревна остановилась в дверях. Быстрым взглядом синих глаз она окинула присутствующих, точно ища кого-то, и глубоким русским женским поясным поклоном ответила на приветствия.

Все пришло в движение. Точно этот поклон сорвал все преграды и толкнул всех к цесаревне. Никто не мог оставаться спокойным. Падали стулья, табуреты и скамьи. Опрокидывались кубки. Первым подбежал к цесаревне Грюнштейн и, припав на колено, поцеловал маленькие пальчики цесаревны. Многие стали на колени, другие простирали руки, глаза горели, слезы блистали в них. Дамы как склонились в придворном реверансе, так в нем и оставались, не выпрямляясь.

– Виват!.. Виват!! Виват!!! – не смолкало по зале.

Растроганная, взволнованная встречей цесаревна еще раз низко поклонилась и пошла в залу. Все расступились перед ней. За ней вошли в залу ее музыканты – итальянцы, скрипки,

флейтисты и гобоисты. Цесаревна прошла к оставленному для нее креслу, как бы с некоторым удивлением посмотрела, что против нее оказался ее певчий, еще раз осмотрела всех занимающих свои места и попросила садиться. Против нее всегда на таких ассамблеях садился красавец Семеновец, ее камер-паж Алексей Никифорович Шубин.

Она вытянула его из бедности и приблизила к себе. Шубин был сыном владимирского помещика из окрестностей Александрова. Таких бедных и безродных и любила Елизавета – такие преданнее и горячее любят.

Да, Шубина не было на ассамблее. Семеновец был только один – красноносый капрал, имени его Елизавета Петровна не знала. Он был пьяница и похабник, а таких людей цесаревна не переносила. Ее лицо омрачилось. Неужели была правда в тех слухах, что дошли до нее сегодня? Утром ее чесальщица пяток, разбирая и переминая маленькие розовые пальчики ее ног, рассказывала ей нечто такое страшное, о чем она слышала в городе, что цесаревна отказывалась ей верить. Из-за спины цесаревны нагнулся Грюнштейн. Она увидела алый обшлаг Преображенского мундира, кружевные манжеты и бутылку в руке.

– Ваше Высочество, венгерского?..

– Налей немного...

– Что прикажете закусить?..

Ей было все равно. Она мало пила и ела – боялась располнеть. С ее приходом в зале стало тише. Кто подвыпил – подбодрились: цесаревна не любила пьяных, брезговала ими и боялась их. Итальянцы-музыканты разместились в углу и начали играть. Шел сдержанный, негромкий разговор. Цесаревна казалась очень рассеянной.

«Может быть, – думала она, – все это были только глупые, ни на чем не основанные петербургские сплетни? Алеша, может быть, просто на службе или нездоров... – Она хотела спросить о Шубине семеновского капрала, но воздержалась. – Опять пойдут: “эхи”!..»

Она нагнулась к Лестоку и сказала ему, чтобы он приказал итальянцам играть танцы.

Певучие звуки менуэта раздались по зале. Стол отодвинули к стене, табуреты и скамьи перенесли к стенам, очистили место для танцев. Обыкновенно она начинала – с Шубиным. Семеновский сержант танцевал тогда с преображенским капитаном. Было очень красиво – совсем статуэтки севрского фарфора.

В ушах ее мягко отбивался веселый, шаловливый такт: раз, два, три, раз, два, три... Гости чинно сидели у стен, никто не осмеливался начать до нее: она должна была открыть танцы. Она преодолела свои грусть и заботы, встала и, не думая ни о чем и никого не выбирая, подошла к молодому певчему в брусничного цвета кафтане и подала ему руку.

«Раз, два, три... раз, два, три», – играла музыка. Рослый певчий – он был выше ее – танцевал очень плохо. Она подсказывала ему, поправляла, чувствуя в своей руке его горячую дрожащую руку, смущалась от его восторженного взгляда. Сзади задвигались другие пары.

Цесаревна кончила тур и сама подвела певчего к Ранцевой.

– Рита, поучи молодца.

Алеша был совершенно уничтожен, он бы охотно исчез сейчас, провалился сквозь землю. В опытных руках Риты дело пошло у него лучше.

После танцев играли в «рукобיתье». Связали длинную ленту, стали кругом, держась за нее; стать в середину по жребию досталось семеновскому капралу. Он старался ударить по рукам держащих ленту, но руки отдергивались перед ним, он промахивался и получал длинные «носы» и звонкий смех расшалившихся фрейлин. Наконец, ему удалось хватить – и пребольно – Алешу.

– Фант! Фант!.. – закричали играющие. – Ваше Высочество, назначьте ему фант!

Цесаревна, не принимавшая участия в игре и снова поддавшаяся тяжелому раздумью, рассеянно посмотрела на певчего, на бандуру, лежавшую в углу на столе, и сказала:

– Спой нам песню, какую хочешь. – Она сказала это так, чтобы что-нибудь сказать, но как только сказала, сейчас же задумала, если споет этот красавец певчий веселую песню – значит с Шубиным ничегошеньки, ничего не случилось, если печальную – пиши пропало. Она сознавала, что это глупо, но поддалась этому и с некоторым волнением ожидала, когда Алеша начнет петь.

Подталкиваемый другими певчими Великой княжны, Алеша взял бандуру и стал настраивать ее. Итальянцы заинтересовались невиданным инструментом и подошли к нему. Цесаревна села в кресло и протянула ноги в ботфортах, сзади нее стали Нарышкина, Рита и Грюнштейн, остальные сели по скамьям и табуретам. Перебор струн был печален, аккорд раздался надрывным стоном.

Задумчиво стало лицо Розума. Густые черные брови нахмурились, мрачный огонь загорелся в темных прекрасных глазах. Он наложил ладонь на струны и, притушив их стон, сказал, вставая:

– Треба знати, Ваше Высочество, що буду спивать?

– Пой, что на душу ляжет.

– А ну, заспиваем проби ради.

Грустная и нежная раздалась песня:

– Добри вечир тобі, зелена дубраво...

Переночуй хочь ниченьку мене, молодого.

– Не переночую, бо славоньку чую

А про твою, козаченьку, головку буйную...

Звонящие аккорды струн прервали на миг песню. Розум продолжал с большим чувством:

– Добри вечир тобі тии, темный байраче...

Переночуй хочь ниченьку ти волю козачу.

– Не переночую, бо жаль мени буде,

Щось у лузи сизии голубь жалибненько гуде.

– Вже ж про тебе, козачоньку, й вороги питають,

Що да я й ночі в темном лузі все тебе шукають,

– Гей, – як крикне козаченько, – до гаю, до гаю!

Наизжайте, вориньки, сам вас накликаю!..

Печальная была песня. Не рассеяла она черных предчувствий цесаревны.

Цесаревна ушла с ассамблеи раньше, чем уходила обыкновенно. Арапы с канделябрами пошли впереди, освещая ей путь по темным коридорам и лестнице, за арапами шел Лесток, за ним цесаревна.

– Грюнштейн, – сказала она, проходя мимо адъютанта Преображенского полка, – следуй за мною.

Черные тени следили за ними по коридору и метались с полыханием пламени свечей.

По мраморной лестнице цесаревна поднялась в свои покои и вошла в уборную. Сонные девушки повскакивали с кресел. В уборной было темно. Один ночник мерцал мелким ничтожным пламенем. Арапы поставили канделябры перед зеркалом. Темнота ушла из комнаты.

Елизавета Петровна села в кресло, девушка накинута на нее пудромантель, парикмахер стал снимать парик и убирать цесаревне волосы на ночь. Парикмахер был калмык, девушки – русские.

– Dites moi, Грюнштейн, – сказала цесаревна и продолжала по-французски: – Только не называйте здесь перед слугами имен... Сие есть правда, страшные «эхи», что дошли до меня сегодня? Почему его не было на моей ассамблее?

– Он не мог быть, princesse. Он арестован и посажен в каменный мешок.

Краска сошла со щек цесаревны.

– Что же случилось?

– На прошлой неделе в одном обществе он говорил про вас. Он сказал, что напрасно выбрали и посадили на трон Анну Иоанновну и позабыли про истинную наследницу, про дочь Петра Великого.

– Только и всего?

– Вполне достаточно, princesse. Ваше Высочество знаете, в какое опасное время мы живем. О неосторожных словах сих донесли. Он – русский... Он вами был отмечен и превознесен, его взяли на допрос. Ваше Высочество, знаете, что сие значит...

– Не может сего быть!.. Неужели вы думаете?..

– Его пытали... Кнут... вырезывание языка... Камчатка... неизбежны.

Цесаревна закрыла ладонями лицо. Как!.. По этому нежному телу будет?.. Нет!.. Уже гулял кнут палача?.. Прекрасное лицо изуродовано?.. Томный голос пропал?.. Нет!.. Нет!.. Нет!.. – она кричать была готова, точно она сама перенесла всю эту страшную пытку.

– Я пойду молиться, – сказала она Лестоку и Грюнштейну.

Когда те вышли, она с таким необычным и несвойственным раздражением крикнула парикмахеру:

– Скорее, братец, что так копаешься! Не покойницу, чаю, убираешь! Живой человек перед тобою!

Отпустив парикмахера, она прошла в опочивальню. Девушки раздели и разули ее. Она прогнала и их. Хотела быть одной. Все опостылело и стало противно ей здесь.

«Шубин... Шубин, – беззвучно шептали ее губы. – Алеша, милый, как же так? Все кончено? Навсегда? Плетьюми? С вырванным языком?.. Сослан?.. Это они мне мстили!.. Ему за меня!»

Не могла представить себе всю непоправимость несчастья. В ушах звучала только что слышанная песня:

– Не переночую, бо жаль мени буде,
Щось у лузи сизии голубь жалибненько гуде...
«Сизый мой голубь, Шубин, где ты?..»

На ночном столе в бронзовом шандале мигал ночник, в углу, у божницы, в малиновом стекле теплилась лампада. Цесаревна опустила на колени. Долго смотрела она на темный лик и точно пытала его. Знала она, что уже ничего нельзя сделать, что надо смириться, надо себя сберечь. Ничто, – ни то, что она дочь Петра Великого, Великая княжна, цесаревна, любимая народом... Любовь народа даже в вину ей поставят, – ничто не может помочь ей спасти и избавить от пытки и ссылки Шубина. В памяти вставали восторженные виваты, которыми ее только что встречали, вспоминалась громовая песня, слышанная ею осенью, когда мимо дворца шел с ученья Преображенский полк.

– Краше света нам Елизавета,
– Во-от кто краше света!!

Все это – обман... ничто... любовь народа... ее солдат... Ни к чему!.. Следят, подслушивают, тысячи ушей приложены к замочным скважинам ее дома, тысячи глаз подсматривают

за нею и обо всем доносят... Нет, что уж... куда уж... за Шубина заступаться!.. Надо себя спасать... Свою красоту избавить от плетей, от урезания языка, от ссылки в далекие полуночные края.

Она засветила свечу и долго звонила в бронзовый колокольчик, пока заспанная девушка не явилась к ней.

– Скажи Чулкову... Лошадей чтобы на завтра с утра приготовил и возок – в Москву поеду, – расслабленным голосом сказала цесаревна. – Да чтобы отец Федор раненько пришел молебен служить...

Когда пришло решение – стало спокойнее на душе. Цесаревна лежала на спине. Мысли неслись в ее голове, лишая сна. Поехать в «его» Александрове и там в александровском Успенском монастыре принять иноческий чин. Уйти совсем от гнусного мира доносов, пыток и казней и молиться... молиться... молиться!..

Прекрасное тело, разогретое танцами и волнением, благоухало пудрой и французскими духами под пуховым одеялом. Каждой жилкой, каждым нервом ощущала его молодая женщина и сквозь темные мрачные мысли не могла остановить биения крови, радости жизни, счастья дышать и быть молодой и здоровой... Напрасны печальные мысли! Никогда этого не будет, никогда ни в какой монастырь она не пойдет. Жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. Грешное тело никуда никогда не пустит взволнованную, потрясенную, растерянную душу.

Утром, после молебна и долгой беседы с отцом Федором, цесаревна села в крытый возок на полозьях и помчалась в Москву в тайной надежде, что ничего не было, что она найдет Шубина живого и здорового в селе Александровском.

Перед отъездом она призвала к себе Лестока и велела передать ее поклон «хору честному воспевавшему, товарищам, а особливо Алексею Григорьевичу» и приказала назначить его к себе камердинером и считать наравне с другими камердинерами Чулковым, Полтавцевым и Штерном, отпускать ему: «к поставцу ее высочества, окромя банкетов и приказов – водки, вина и пива, через день и два – водки и вина по кружке, пива по четыре в каждый день» – и именоваться ему впредь Разумовским...

V

Цесаревна Елизавета Петровна возвратилась из Москвы только в мае следующего года. Она заехала в Петербург на один день – заявиться к большому двору. Ей тяжело было видеть тех, кто мучил и изуродовал ее любезного – Шубина. При большом дворе ее не жаловали и опасались. Императрице Анне Иоанновне было не до нее. Занятая нарядами, лошадьми, птицами, а больше всего Бироном, стареющая, дурнеющая, она не любила, когда подле нее была красавица цесаревна. Она рада была желанию Великой княжны поселиться уединенно в петергофском Монплезирином дворце.

Как ни разжигала в себе цесаревна огонь раздражения, негодования и скорби о Шубине – время заливало и гасило его. Печаль, тоска воспоминаний о прошлых сладостных утехх постепенно проходили, и с первыми вздохами весны, с запахом ландышей, березовых и тополевых почек вставали такие жгучие живые воспоминания о недавнем прошлом, что цесаревна не могла с ними бороться. Она постилась, молилась, часами не вставая с колен, скакала на лошадях по полям и лугам до утомления, гребла на лодке по заливу и каналам, ходила с французским коротким мушкетом на тягу вальдшнепов у Темяшкинского леса, до одури танцевала менуэты и англезы со своими придворными, с доктором Лестоком, с Алексеем Григорьевичем Разумовским, с Ранцевым, наблюдала, как ловила в амурные сети лукавая, страстная и не очень красивая Настасья Михайловна, часами слушала игру итальянского оркестра и французское пение. Охотничьи арии, пастушеские песенки – бержери, бокажер, водевили, мюзетт, рондо,

менуэты, гавоты – сменялись в сладких и нежных напевах. Французская музыка, французский язык будили другие мысли о том, что могло случиться и чего не было и где вместо радости было жгучее оскорбление, плоть не утихала, не смирялась. Каждое утреннее бормотание дроздов в соснах и липах монплеzirного сада, дневной ропот фонтанных струй и звон бегущих мимо дворца ручьев, дремотный шепот тихих волн залива, ночные песни соловья – все говорило ей о радости жизни, о том, что она молода и пока молода, ей надо жить... и любить...

Грех это, грех... Она шла молиться. В низкой и тесной моленной неярко и таинственно горели лампы. По одну сторону ее стояла божница, и на коврах перед нею на низком напольном лежали служебные книги, молитвослов ее отца в тяжелом кожаном переплете – по другую было заслоненное тюлевою занавесью окно во всю стену до самого пола, и за ним голубеющее на раннем утреннем солнце море. «Если око твое соблазняет тебя – вырви его...» Легко сказать! Как вырвать эти прекрасные глаза, на которые она сама не могла вдоволь налюбоваться. А как их любил Алеша!.. Как до боли целовал их сквозь тонкие веки! Да тут и не глаз надо вырвать.

Глаз она успокоит прекрасной природой, лошадьми, собаками, метким выстрелом... Самое сердце надо вырвать. Как стучит и колотится оно под просторным шлафроком, как волнуется, когда стянет его корсет нарядной «самары», или военный мундир, или охотничий кафтан доезжачего. Вырвать его?..

Из моленной она шла в гардеробную, часами примеряла и переменяла платья, замучивала фрейлин и портних, ездила сама в Петербург к золотошвейкам и кружевницам, вызывала к себе приезжих из Франции купцов, покупала шелка и кружева, примеряла парижские костюмы. Все – чтобы успокоить, утомить сердце, а оно только пуще растравлялось, и стоило ей лечь в постель, войдет сквозь неплотно стянутые шторы мутный свет белой ночи, станет слышен запах моря, деревьев и цветов сада, шепот волн и трели соловья войдут в спальню – и тысячи безумных мыслей одолеют ее, запыхают огнем щеки, прогонят сон, – и нет спасения от метких стрел шалунишки Амура.

Два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, у нее – куртаги. Приглашены только свои. Зала Монплеzirного дворца мала и тесна, да цесаревне и не хочется видеть чужих, тех, кто мучил и судил ее Шубина. Свой двор: милый и всегда любезный Лесток, всюду поспевающий Грюнштейн, высокий солдат Ранцев и его резвушка сестра Рита, ее «черкасы» – Разумовский, Тарасович, Божок... Простые все «персоны», ни в каких боярских книгах не записанные, чиниться с ними не надо. Все петербуржцы да хохлы – дети сподвижников ее отца, героев Нарвы и Полтавы.

Играют в шахматы и карты – в ломбер, за особыми маленькими, квадратными, зеленым сукном крытыми ломберными столами. Немного и не слишком чинно танцуют, пьют чай из маленьких чашечек китайского фарфора, едят мороженое... Вина немного – легкого и вкусного. Итальянский квартет тихо играет – Баха, Моцарта... Поет приезжая французская певица, Елизавета Петровна смотрит, как идет кругом нее любовь, которую она сама так хочет прогнать из своего сердца; Ранцев сохнет и тает от пения француженки, Наталья Михайловна расставляет сети бедному Разумовскому и неслышно летают больно ранящие стрелы Амура.

Ей рыдать хочется в эти вечерние сладкие часы невинных утех и усад или опять, как в те грустные дни, когда пришло известие о смерти ее жениха, епископа Любской епархии Карла Августа Гольштейнского, бросить все и – если «око твое соблазняет тебя» – пусть!.. отдаться лукавому соблазну и снова любить... любить... любить!..

Избитый, изуродованный, в далекой Камчатке вдруг призраком станет Шубин, как угроза и ей самой, – и станет страшно... Какое ужасное, жестокое время теперь... Как все это изменить?..

Без конца тянется вечер. Кажется, никогда не зайдет солнце. Все общество вышло на мраморную площадку, мощенную в шашку черными и белыми плитками, на самом берегу моря.

Низкая мраморная белая балюстрада пузатыми столбиками-бутылками отделяет ее от залива. Серебристый песок намыт к краю балкона, молодые камыши тихо колеблются, когда длинная и низкая волна медленно набегают на них с дремотным шепотом. Лиловой дымкой залив подернут. Шведский берег до самого Лисьего Носа прочеркнут четкой линией, над ним бездонно зеленовато-синее небо. Влево серые, низкие верки Кронштадтской крепости темнеют, а над ними красным полымем неугасимо пылает закат.

В углу за ломберным столом играют в карты без свечей. Карты лежат неподвижные, ничем не колышущиеся. За длинным домом Монплезира молодые ели, липы и дубы не шелхнутся. Птицы там гомонят, укладываясь на ночь.

Молодежь распалилась. Рита водит по мраморным пашкам Алексея Григорьевича – учит его английскому. Ранцев разговаривает с Нарышкиной, а сам все оглядывается на раскрытые двери дворца, откуда доносится стон настраиваемой скрипки и мягкий звон клавиатур. Там накрывают на шести «штуках» ужин.

Цесаревна, в мужском костюме, в серебристо-сером кафтане, белых атласных панталонах, в чулках с пряжками и башмаках, присела на балюстраду и, прищутив глаза в длинных ресницах, смотрит на море. Закатное небо золотит ее щеки, волосы загораются бронзой. Подле нее Лесток, Грюнштейн и группа гвардейской молодежи.

– Рита, – говорит она томным голосом, – будет тебе мучить Алексея Григорьевича. Садитесь, камрады, на зеленую скамью и слушайте: будет игра в буриме.

Игравшие в карты послушно поднялись от стола.

– Будет игра в буриме, – повторяет Грюнштейн. – Ее Высочество назначает. Что изволите назначить, Ваше Императорское Высочество?

– Лирика и... чудиха...

– Камрады... Дается: «лирика» и «чудиха»...

– Отдать за лиру – готов полмира, – говорит молодой Михайла Воронцов, – вот насчет чудихи... Никак не придумаю... Бегут волчихи, как после пира...

– Ну, знаете, как в лужу, – говорит красноносый семеновец.

– Тише ты, косматый Вах, – строго останавливает цесаревна. – Рита... Что ты предложишь?..

– Ваше Высочество, – приседая в низком «придворном» реверансе, говорит Рита, – я – пас...

– Кажется, твой брат что-то придумал.

– О, Ранцев совсем не поэт, – кричит Грюнштейн, – ну, валяй...

Ранцев встает и, глядя в столовую, говорит, слегка запинаясь:

Совсем забыл свою я лиру,
Другому кланяюсь кумиру...
Уже женат: жена чудиха,
В мозгу, в дому неразбериха...

– Знать, – говорит цесаревна.

– Не верьте ему, Ваше Высочество! – кричит Грюнштейн. – С лирой никогда Ранцев не был дружен, ее забыть ему нетрудно... А вот ежели он да воинский артикул станет забывать, то и будут ему палочки... Кумир у нас у всех один... И сержанту Ранцеву жениться?.. На ком?.. На чудихе?.. Франко-русская дружба нам самим Петром Великим заповедана... Разве она чудиха?.. Перл!.. Диамант чистейшей воды!..

Точно продолжая его слова, в этот миг кончилась настройка инструментов, клавиатуры проиграли ритурнель вступления и молодой мечтательный, прекрасный голос понесся по морю:

– Люби меня, пастушка, я полюблю тебя,
Другой служить не буду подруге никогда.
Любовь – веселье, рай в прелестный месяц май.
Любовь – веселье, рай, – прелестен месяц май.
Ведь это рай – веселый месяц май...

И опять забрызгали, упавая каплями студеной струи, звуки клавикордов.

Цесаревна смотрит на стоящего у дворцовой стены Разумовского. Как строги и благородны черты его смуглого лица! Как тонки и породисты его руки! Полковник Вишневский говорил: «Мальчиком он был пастухом...» Она не была никогда пастушкой. Как-то, правда, в маскарадах наряжалась пастушкой... Если явлюсь к нему в таком наряде, что скажет он мне?... Посмеет ли что сказать? Цесаревна вскакивает с балюстрады, делает знак Нарышкиной и бежит с ней в гардеробную. Все девушки подняты на ноги. К ужину цесаревна выйдет в костюме пастушки.

За ужином она так хороша в этом костюме, что глаза всех сидящих за столами постоянно обращаются к ней. Итальянская музыка играет. Скрипка нежно поет, ей вторит флейта, и звенят, звенят клавикорды. Цесаревна сидит против Разумовского. В ее глазах бешено горят огни страсти. Она держит в зубах стебель ландыша и сквозь зубы шепчет:

– Люби меня, пастушка, я полюблю тебя,
Другой служить не буду подруге никогда.

За соседней «штукой» сержант Ранцев, красный, смущенный, краснее своего Преображенского камзола, напевает черноволосой, веселой французенке-певице.

Он льет весеннее пиво в кружку и не видит, что та полна, – льет на скатерть, пока Грюнштейн не дергает его за рукав. Месяц май стоит над Монплезиром. Все небо в розовом закате, на востоке плавится золото – уже спешит туда солнце. Залив как серебряная парча. Шведский берег чеканной чернью обрамляет его. В парке за раскрытыми настежь окнами немолчно шелкает соловей.

Амур натянул тетиву и пускает стрелы. И каждая находит свою жертву.

VI

Лето идет свежее, прохладное, с частыми дождями. Бурно вдоль приморской дороги цвела сирень, стояла в ароматных букетах лиловых и белых кистей. Цесаревна ходила по этой душистой аллее, фрейлины и кавалеры резали ей ветки, она опускала в них, прохладных и душистых, еще мокрых от пролившегося утром летнего дождя, разгоряченное лицо, вдыхала сладкий запах, а потом, щуя прекрасные глаза, искала в них цветы о пяти лепестках – свое счастье, и, когда находила, съедала горьковатый цветок, чтобы загаданное сбылось. Но что было загадано – она и сама не знала. То, что было, того не вернешь...

Позднее вокруг Монплезира пышно цвел густо разросшийся жасмин, и приторен был его голову кружащий запах. В аллеях зацвели липы. Девушки собирали их цвет, чтобы было что заварить в случае лихорадки. В пруде, у кубической формы дворца Марли, чмокали в иле караси, посаженные туда еще ее отцом, и приплывали на звонок сторожа за хлебом. Полон затей и чудес был петергофский парк, а все не мог развлечь и успокоить ее смятенную душу.

В конце июня цесаревна ездила в Санкт-Петербург. Там с пушечной пальбой с верков Петропавловской крепости и с кораблей, стоявших на Неве, 27-го числа праздновали память полтавской виктории. Ее поздравляли как дочь победителя. Она видела, как недовольно хму-

рилось полное, мясистое лицо императрицы, и спешила скрыться, боясь колкого замечания, обидного слова Бирона. 29 июня, в день святых Петра и Павла, в памятный день тезоименитства ее родителя она «изволила шествовать на барже, водою, в Санкт-Петербургскую крепость и по прибытии, в церкви святых верховных апостолов Петра и Павла изволила слушать Божественную литургию, а после нее панихиду».

В июле цесаревна вернулась в Петергоф. Ночи стали темнее, короче дни. Ночью над заливом месяц вставал, и парчовая, искрящаяся, точно живая дорога шла по волнам к шведскому берегу. Кругом смоляно-черным было море, и далеко были видны огни на клотиках мачт проходящих кораблей.

Пока было лето, цесаревна справлялась с собою, поборолa «борющие ее страсти». Часто наезжал в Большой дворец двор, за фонтанным каналом на заливе фейерверки горели, бенгальские огни освещали фонтаны. В парке военная музыка гремела, гроыхали барабаны и били литавры. Полки Петербургского гарнизона ходили на маневры под Ораниенбаум, и, когда оставались на Петергофском поле на бивак, всю ночь горели там смоляные бочки и костры, пели песенники и играли волторнисты. Цесаревна ездила верхом по биваку на прекрасном жеребце в капитанском мундире Преображенского полка, солдаты бежали за ней и кричали: «Виват!».

С августа пошли дожди. Море глухо шумело, и серые, графитового цвета валы гуляли до самого Петербурга. Они мчались с грозным рокотом к берегу, заливали мраморный балкон Монплезира и докатывались до цесаревниной спальни. Западный ветер выл с неистовой, жестокой силой и сбивал листья с лип и кленов. Ели и лиственницы гнулись и качались в сером небе под косыми струями холодного осеннего дождя. Итальянские певцы и музыканты уехали в Петербург. Французская певица лежала в больнице с простуженным горлом. Сыро, темно и неуютно было в низких петровских комнатах Монплезира.

Окруженная фрейлинами и горничными цесаревна стоит в гардеробной у большого зеркала. Стенные кинкеты зажжены, и на подзеркальниках факелами пылают канделябры. От пламени свечей в комнате дымно и жарко, пахнет душистыми ворохами материй, вспотевшими девушками, тающим воском и ладаном черных курительных «монашек».

Как богиня в пламенных отблесках свечей – цесаревна. Она сменяет одно платье другим. То стоит она в бальной «робе» соломенного цвета с серебряным и фиолетовым гарлантовым туром из гризета, тяжелая и величественная, как китайская богиня, то наденет парижскую, изящную, легкую «самару» розового цвета с серебряным, гарлантовым туром и малыми фижмами и станет похожа на грациозную куколку севрского фарфора, то в «адриене» из белого гротетура, шитой мелкими цветами, длинная и тонкая, сама на себя залюбуется.

«Адриена» падает белыми лепестками к ногам цесаревны, и она в исподнице: в белой марсельской юбке и кунтуше... В задумчивой неге снимет исподницу... мраморное изображение той самой Венус, что привез ее отец из Италии и поставил в Летнем саду, отражается в зеркале. Огни свечей золотят прекрасное, влажное от жары и утомления, блистающее в округлости плеч и груди тело.

Цесаревна медлит надеть подаваемую ей служанками свежую валендорскую рубашку.

Кому?.. Кому она отдаст это тело?.. Проходят дни, слагаются в месяцы... Она будет стареть... Что угодно! Только не старость!..

Цесаревна руками задерживает рубашку над собою. В полном расцвете двадцать третьей весны ее тело. Ни одного пятнышка, ни одной морщинки на нем, и, как лепестки бледно-розовой розы, – ее прекрасные холодные колени. Таких ног, такой совершенной красоты нет на свете. Она прекраснее самой Венус...

С тихим вздохом она отдается в руки горничных и одевается в мужской костюм. На ней кафтан, камзол и парчовые по голубой земле панталоны, расшитые мелкими серебряными

«травами» и подбитые белой тафтой. Пуговицы на кафтане золотые, петли обшиты серебряным узором по пергаменту.

Как стройна и как женственно красива она в этом костюме!

Безумная, неистовая грусть охватывает ее сердце. Сорвать с себя платье, кинуться на диван, заваленный материями, и рыдать, рыдать, рыдать!..

VII

Осенний день был серый и туманный. Глухо било море темными валами о кирпичные стены балкона – не могло успокоиться после вчерашней бури. Очень похолодало. В восемь часов утра еще было темно. С голых ветвей падали капли в длинные лужи аллей. В монпле-зирном саду были голы деревья. Лужайки были покрыты побуревшими листьями, и девушки-работницы сгребали их в кучи. В лесу, у озера Порзоловское-Ярви, были обложены для цесаревны лоси. Цесаревна ехала туда верхом с мушкетами, сопровождаемая опытными охотниками.

В Фонтанном канале вода казалась черной и дымилась голубоватым паром. Она грустно шумела у става и сливалась прямым потоком зеленого стекла.

По черной, глинистой, грязной дороге, усыпанной листом, мягко ступали лошади, и не слышна была их поступь. Охотники молчали. Чуть поскрипывало новое седло под цесаревной. Охота проносилась по улицам Петергофской слободы, как некое видение. В бедных бревенчатых домиках желтыми пятнами светились огни, дали были затянуты серой дымкой тумана, жемчужная россыпь мелких капель серебрилась на бледно-голубой епанче цесаревны.

За деревней Большой Симоногонд спешили, оставили лошадей на окраине деревни, и старик охотник повел цесаревну в лес к ее лазу.

Серые сосны по мшистому, пологому берегу спускались к болоту, поросшему мелкими кустами можжевельника и голубики. В природе сумрачно и грустно было. Кругом – мох, кочки и по ним чахлая сосна, кривые березы с черными листьями и густая поросль черники. Вдали сизым паром дымилось озеро Порзоловское-Ярви.

Охотник испросил у цесаревны разрешение курить. Терпкий запах крепкого кнастера примешался к спиртному аромату можжевельника и сосны.

Цесаревна смотрела на плохо бритое, с седой щетиной, бурое лицо охотника, на его рваный армяк, плоско висящий на худом теле, на Полтавскую медаль на груди.

– Ты, старина, моего отца помнишь? – спросила цесаревна.

– Как мне не помнить Отца Отечества!.. Вот как сейчас тебя вижу, так и его не раз видал. В Преображенском полку с семьсот пятого года!.. В Полтавской баталии рядом был...

– Он храбрый был?.. Мой отец...

– Храбрый?.. Я так тебе скажу... Он более чем храбрый был. Мне офицера сказывали: он от природы не весьма храбр был, но слабость свою преодолевал рассуждением и в бесчисленных случаях показывал такое мужество, что не токмо не умаляет его великости, но еще утверждает ее.

Цесаревна внимательно взглядела в охотника.

– Ты дворянин?

Охотник встрепенулся, подтянулся, спрятал трубку в карман и, показывая на свой отрепанный зипун, с горечью сказал:

– Все мы – петровские дворяне... Ныне мы без надобности. При прошлом царе, Петре Втором, московские бояре голову подняли, а ныне немцы... Петра Великого нет... Он человека различал не по роду, а по заслугам.

Охотник помолчал немного и негромко продолжал:

– На твою милость, цесаревна, петровские надежу имеют. Тебе, а не кому-либо иному прочему царствовать надлежит...

– Тш-ш!.. Тише!.. Молчи!..

– Да я и молчу...

Цесаревна вспомнила про Шубина. Вот за такие самые речи ему резали язык... И она не годится для этого... Она тоже, как ее отец, от природы не весьма храбра... Сумеет ли в нужную минуту преодолеть слабость свою рассуждением?.. И какая это будет минута?.. Минута борьбы за власть и престол или просто минута борьбы со страстями?..

Далеко за озером раздались неясные крики: «А-а-о!.. А-о!.. У-а!.. Держи, держи его!!!! Ах!...»

Испуганный заяц, громадный беляк, близко взметнулся за можжевельным кустом, увидел охотников, растерялся, привстал тумбочкой на задние ноги, насторожил уши и помчался мимо цесаревны в чащу высокого леса. Гон приближался, но собаки не подавали голоса.

– Должно, пропустили, – со вздохом сказал охотник и опустил запасной мушкет, который держал для цесаревны готовым, с порохом, насыпанным на полку, и взведенным курком.

В мелкой сосне, за дымным переплетом тонких серых стволов замелькали темные тени загонщиков.

Охота не удалась. Лоси прошли, не замеченные ни людьми, ни собаками, сквозь загон. Осенними сумерками возвращалась цесаревна в Монплези́рный дворец. Так рано ее не ожидали. В окнах дворца нигде не было света. Цесаревна соскочила с коня, потрепала его по крутой шее, дала ему корку хлеба, густо посыпанную солью, поцеловала в нежное место между храпками и быстрыми шагами вошла во дворец. Она прошла через пустую прихожую и через столовую в будуар. Как только она открыла дверь, высокая фигура в белом бросилась в коридор, а с дивана раздалось томное, испуганное: «А-ах...»

У двери чуть горел в чашке с водой ночник. Цесаревна зажгла восковой фитиль и засветила свечи в канделябре. С золоченого дивана, обитого красной материей, поднялась фрейлина Настасья Михайловна. Она была в ужасном виде. Камыши фижм были поломаны, и разорванная юбка висела, как крылья бабочки, попавшей на огонь. Ноги, одна в башмаке, другая босая, с сорванным чулком, поспешно перекидывались с дивана на пол. Из расстегнутого корсажа выбилась смятая рубашка, и над нею пылало пунцово-красное лицо с испуганными глазами в широких синяках. Прическа была смята: на голове в беспорядке перемешались проволочный каркас, черные пряди волос и бумага...

– Настя, что с тобою?.. – воскликнула цесаревна. – Бесстыдница!

– Ваше Высочество!..

Настасья Михайловна вскочила на ноги и, хромя – одна нога обутая, другая босая, бросилась к цесаревне и упала перед нею на колени.

– Ваше Высочество... Простите...

Горячими, сухими губами она прижималась к холодной руке цесаревны, и та чувствовала, каким огнем горели ее щеки. Цесаревна подняла фрейлину и повлекла ее в свою уборную. Там, замкнув дверь, в темноте, при свете одного маленького ночника, усадив ее на маленький угловой диванчик, цесаревна села рядом и, взяв за руку Настасью Михайловну, строго сказала:

– Твоим проказам, Настька, конца-краю нет... Говори как на духу. Признавайся во всем... Ты хотя бы, сударыня, во дворце-то постыдилась любовными шашнями заниматься.

– Ваше Высочество... Ей-богу, я...

– Да не божись, по крайней мере... В таком деле. В какие еще сети завлек тебя Купидон?..

– Ваше Высочество... Ей-богу, я... Он прямо-таки измучил меня... Чистый зверь...

И пошел тихий шепот исповеди на французском языке, на котором легче казалось несказуемое сказать. Еще тише, чуть слышным шелестом шепчут горячие губы.

Ее камердинер Алексей Разумовский!.. Какая наглость, какая дерзость и какая бешеная страсть!

– И дальше?..

Они шалили, как дети, все утро и весь день.

– Все это прекрасно, милая моя Настасья Михайловна, но посмотрите на себя в зеркало, на кого вы похожи!.. Ступай к себе, приведи себя в порядок и оденься прилично. Вы, сударыня, во дворце цесаревны-девушки... А ему пошли сказать, чтобы и на глаза мне не смел показываться. Каков пастушок!.. Ступай!..

Время тяжелыми охотничьими сапогами, забрызганными грязью, цесаревна прошла в гардеробную. Гневно, звонко, нетерпеливо и продолжительно зазвонил ее литой бронзовый колокольчик, призывая девушек, чтобы помочь ей раздеться.

Ночью, при свете одинокой свечи, горящей в изголовье, цесаревна читает – «Дафнис и Хлоя». Прекрасная книга издания 1718 года с рисунками, наивно неприличными, давала ей урок любви, какой она не знала с Шубиным.

Она только что была в бане, где парилась после утомления охоты. Она лежала в постели, чесальщица пяток сидела на низком табурете у ее ног и осторожно почесывала, разминая еще сырые, полные, нежные пятки, перебирая маленькие пальчики, и шлифовала розовые ноготки. Тревожные, щекочущие мураши пробегали под кожей по ногам, и сладкая истома охватывала все ее молодое крепкое тело.

Хлоя и Дафнис!.. Он тоже был когда-то пастухом и, по словам Настасьи Михайловны, показал столь необычную в его годы наивность... Дитя природы!..

Цесаревна мечтательно улыбается. Она поджимает колени, отталкивает чесальщицу: «Иди к себе, Маврушка, довольно, смех душит...» Приближает книгу к потемневшим глазам и продолжает читать... По-французски все это не кажется таким неприличным... Но какие картинки!.. Как им не стыдно было рисовать такое!.. Это грех – читать такие книги... Грех?.. Ну что же – она покается... Все фрейлины читают такие книги. Лучше все это оставить...

«Но избави нас от лукавого», – шепчет цесаревна и гасит свечу.

В низкой комнате с окнами до полу ночник и лампадка льют мягкий, обманчивый свет. Прошуршал шелк натягиваемого к подбородку одеяла. Стали в темноте слышнее звуки дворца: за стеною со смехом укладываются спать фрейлины, через комнату слышно, как звенит в столовой посуда. За окном стоит и будто сторожит дворец ночная тишина. Морозом подувает из окон. Ни охота, ни баня не утомили цесаревны. Сна нет. Мысли то убегают, то возвращаются к тому стыдному и влекущему, о чем ей рассказывала Настасья Михайловна и о чем она только что читала в стыдной, греховной книге. Неужели Купидонова преострая стрела пронзила снова ее грудь. Она вспомнила бандуру, что как гусли звенела в руках ее камердинера и пела ей про любовь... Вспомнила былые утехы в селе Александровском... Странное совпадение – того... Шубина... тоже звали Алешей.

Нет, спать цесаревна не будет... Она встает, надевает дымчатый, гризетовый полушляфрок и сверху накидывает епанчу серебряной парчи на собольем меху. Откинута завеса малинового французского штофа с позументом. Цесаревна медленно подходит к стеклянной двери, ведущей на мраморный балкон у моря. Тихо растворяет дверь. Зимний холод обручем стягивает ей лоб, жжет щеки и бежит под белым теплым мехом к ногам. Слегка захватывает дух.

В серебряном сиянии стоит перед ней полная рождающейся тайны ночь. По мраморным шашкам пола тонким кружевом лег мягкий снег. Цесаревна скользит по нему и идет к балюстраде. Море, ровное и тихое, застыло, как блестящий камень, и исчезает в мутной дали. На двадцать шагов ничего не видно. Чуть сереет вдоль берега прозрачная дымка голых кустов. Крупными звездочками мерно, тихо порхая, сыплет и сыплет первый снег. Вот и зима

пришла... Пахнет снегом, морозом, невнятен, нежен и прекрасен, несказанно волнующ тот запах.

Цесаревна долго стоит на балконе. Глаза привыкают к темноте. Снежинки щекочат веки и лежат, не тая, на длинных ресницах. Сквозь них очаровательные радужные звездочки вспыхивают перед глазами.

Как тихо падают снежинки... Как медленно, непрерывно и бесконечно их падение... Куда деваются они, упавая в море?... Не они ли делают лед?..

Как спокойно прекрасное море... Море ее отца...

VIII

Снег шел еще день и ночь. Цесаревна это время не выходила из внутренних покоев и никого, кроме ближних фрейлин, не видала. На второе утро она проснулась поздно. День уже наступил. Золотом были налиты холщовые занавеси окон. Цесаревна отдернула их. Зима стала на дворе. Лиловое, покойное море дымило белым паром. У берега на песке легло серебряным узором ледяное кружево. Все было бело кругом и сверкало тысячу алмазов на солнце. Цесаревна открыла форточку. Пахнуло первым морозом. За домом веселые голоса раздавались, и звонок и радостен был лай собак.

В мужском охотничьем костюме цесаревна отдавала приказания своей статс-даме:

– Чулкова пошли в слободку к егермейстеру, пусть охотники сейчас снаряжаются ехать со мной в отъездное поле. Полтавцеву скажи, пусть санными летит во дворец на Дудоровой горе, готовит мне ночлег, возьмет с собой повара и напитки... В Ропшинском дворце к двум часам кашу полевую учинить из курятины... Мне Мумета подать... Из камердинеров со мною ехать Алексею Разумовскому, поседлать ему черкесским седлом Нарсима.

У ворот Монплезира цесаревна внимательно осмотрела Разумовского. В атласном камзоле лимонного цвета, в суконном саксонском кафтане, осинового, серебристо-серого цвета, в вишневых широких шароварах, в серой смушковой шапке, по-казацки сбитой на затылок и набок, он молодецки гарцевал на гнедом, поджаром коне.

– Ты, Алексей Григорьевич, охотился ли когда? С коня-то не спадешь? – с спокойной насмешкой спросила цесаревна. – Ежели что, за «спасительницу» хватайся.

– Зачем так фататься, – точно обиделся Разумовский, – як же, не раз и не два с хортами издив. Звисно, дело знакомое.

В прекрасный этот день хохлацко-русский говор Разумовского как-то особенно нравился цесаревне – он так соответствовал его стройной, рослой фигуре, молодцеватой посадке и всей его казацкой повадке.

Легкой, упругой походкой, точно и веса в ней не было, цесаревна подошла к своему персидской породы жеребцу, приподняла, согнув в колене, ногу, лихой стремянный взял ее под колено и, словно перышко, перекинул ее крупное тело на немецкое, малинового бархата седло, прошитое золотыми плетешками.

И только тронулись – красота несказанная раскинулась перед ними. Был весел и точно праздничный, яркий, солнечный день. Бледно-голубое небо висело низко. На горизонте оно затягивалось тонкими белесыми полосами. Мороз пощипывал не привыкшие к нему, еще не обтерпевшиеся уши, нос и щеки. Все сразу разрумянилось, помолодели и похорошели. Снег лег ровным пушистым ковром, лошади охотно по нему бежали, прося повода, радостно фырка и играя.

У выезда из охотничьей слободы цесаревну ожидали борзятники. По чистой дороге голубой лентой протянулся единственный санный след – то Чулков проскакал готовить ночлег.

Ловчий держал совет с цесаревной, как будет охота.

– Сегодня, – озабоченно хмуря густые брови, говорила цесаревна, – серьезной охоты делать не успеем. Немного в наездку потропим. В уйму² и вовсе лазать не станем.

– Верное дело, Ваше Высочество, – сняв шапку с седой головы, говорил старый ловчий. – Время позднее... Пока до места доедем, а погода... Гляди еще, кабы не замело. Вишь, ветерок какой задувать начал...

– Ну, так, айда за мной... Едем!..

Цесаревна нажала ногами лошадь и поскакала широким галопом по мягкому снегу сбоку каменной дороги. Белые комья ископыти летели из-под ног ее лошади вместе с желтым песком. Охотники неслись сзади. Визгивали радостно собаки. Пестрая сука Филлида опережала Мумета, прыгала к цесаревне и старалась заглянуть в лицо своей госпожи.

В Ропше цесаревна не входила в каменные нетопленные горницы дворца, но приказала принести ковры на двор под большие липы, и на коврах разлеглись все без чинов и званий вокруг большого горячего котла с полевой кашей. Стремянные обносили стаканами с венгерским вином, борзятникам поднесли водки.

Было цесаревне дивно хорошо в кругу своих охотников, таких же молодых, таких же простых, таких же русских, какой была и сама она. Полулежа на ковре, опершись на локоть, она деревянной ложкой черпала варево, вылавливая потроха. Против нее сидел на ковре Разумовский, и цесаревна смотрела с улыбкой на милом лице, как аппетитно он ел, запивая вином из серебряного шкалика. Смешливые огоньки загорались и потухали в глазах цесаревны.

– Ты бандуру взял, Алексей Григорьевич?

– А ни... Нема бандуры... На що мени она. На охоту едем...

– Вечера-то длинные, темно рано становится, вот бы и сыграл что да спел своей цесаревне.

Разумовский смутился. Руками по бедрам хлопнул:

– Экий какой недогадливый, – вскочил с места.

– Е, ни!.. Треба було знати!.. Так мы ж то гарненько потрафим. Дозволь, Ваше Высочество, кого послать пошукать ее дома.

Красное солнце опускалось к белесым полосам. Ветер сильнее задувал.

За Высоцким, где пошли березовые и осиновые острова, а за ними широкое поле развернулось, замыкаемое Дудергофскими и Кавелахтскими холмами, пошли «в равняжку», в наездку. То тут, то там из низкого кустарника, из-под кочек и сухих могильников срывался уже затертый, ставший белым русак. Кто-нибудь из охотников, кому было ближе, сбрасывал собак, и охота неслась с атуканьем и криками по снежному полю. Цесаревна со стороны посматривала на Разумовского. Тот, нагибаясь по-казацки к передней луке, помахивая плетью, лихо скакал, крича и увлекаясь охотой.

«Славный казак, – думала цесаревна, – ловкий, смелый и, видимо, добрый. И по красе и Шубину не уступит...»

И опять какая-то волнующая радость захлестывала веселыми волнами ее сердце, и все казалось ей в этот день прекрасным и веселым.

У деревни Вилози цесаревна отправила охоту ночевать в Варикселева, а сама с Разумовским и двумя стремянными поехала, огибая озеро, к Дудоровой горе.

Смеркалось. Солнце зашло в серые тучи. Подернутое тонким ледком озеро казалось темным и холодным. Дудергоф, осыпанный снегом, громадным белым ежом вздымался перед цесаревной. Узкая дорога поднималась на гору. С обеих сторон ели и сосны в блестящем наряде инея ее обступили. В лесу стало темно. Цесаревна сделала знак Разумовскому, чтобы он ехал

² Уйма – большой лес.

рядом с ней. Их колени касались. Усталые лошади торопливо шагали по скользкой дороге, обрывались на замерзших колеях, и цесаревна невольно толкала Разумовского ногами.

Было совсем темно, и черными тенями показались молодые дубы, Петром Великим насаженные, и за ними желтыми квадратами выявились освещенные окна дворца. Дворец был – двухъярусная бревенчатая изба с наружной галереей во втором этаже. Подле дворца у сарая стояли распряженные сани. Стремянные спрыгнули с коней и приняли лошадей цесаревны и Разумовского. Цесаревна вошла во дворец.

Ночью показалось цесаревне, что в ее опочивальне угарно. Она встала с постели. Во дворце давно не топили. Должно быть, поднялся ветер. Через щели медной заслонки голландской печи вырывался сизый дымок. Цесаревна ночевала одна, без фрейлин и горничных девок. Она приоткрыла окно. Сладко кружилась голова – то ли от угара, то ли от выпитого вечером с Разумовским за ужином вина. Цесаревна надела горностаевую шубу и вышла на верхнюю, наружную галерею. Лес глухо шумел. Молодые дубы качались и стучали ветками. Налетела вьюга. Нечего было и думать охотиться завтра.

В затишке двора порхали и крутились снежинки. В мутном свете зимней ночи таинственными казались сараи и конюшни, окруженные частоколом. Мягкий шум леса в старых елях напоминал ропот моря. С ветром пришла оттепель. Таял снег на крыше, и вода тяжелыми каплями упала и с чуть слышным шорохом исчезала в снеговой вате.

Дверь на конюшне раскрылась. В дымном и мутном красноватом свете показался прямоугольник конюшенного входа. Оттуда вышел человек. Цесаревна сразу узнала Разумовского. Алексей Григорьевич был в шароварах, рубашке и в полушубке, накинутом наопашь, без шапки.

– Алексей Григорьевич, ты, что ль? – негромко окликнула цесаревна.

– Я, Ваше Высочество, коний ходил проводить.

В ночной тишине голос певчего был глубок и приятен. И то, что случилось, было как молния, вдруг ударившая с ясного неба, без грома прилетевшая от какой-то далекой грозы. Все прошлое – Шубин и страшная непреодолимая скорбь по его утрате, думы о монастыре, волнующий недавний рассказ Настасьи Михайловны – все точно унеслось в бездну, растаяло, как таял снег перед ней, недавней вьюгой отшумело, – точно ничего этого, больного, острого и печального, и не было вовсе. Перед нею – ночь с тихим шумом ветра в деревьях, сладостный запах снега, легкий шумок в голове, зябнущее под лаской горностаевого меха все более и более возбуждающееся тело и уже непреодолимое желание счастья, ласки и любви...

– Пожалуй сюда, Алексей Григорьевич.

Разумовский точно не понял. Он подошел к наружной лестнице, ведущей на галерею, и нерешительно взялся за вереву.

– Пожалуй, сударь, наверх.

Заскрипели дубовые ступени под рослым телом. Разумовский прошел за цесаревной в столовую, где на простом дубовом столе горела в медном шандале оплывшая свеча. Цесаревна остановилась в дверях опочивальни. Она томно и призывно улыбалась. И были в ее улыбке те самые ласка и задор, что увидел Разумовский тогда, когда первый раз показалась она ему царевной сказки у качелей села Александровского. Он не верил своим глазам.

На щеках цесаревны повыше губ появились ямочки, маленький рот раскрылся, обнажая блеск ровных, белых зубов, короткий смех прозвенел песней жаворонка. Освещенная спереди свечой в ее неровном мерцании, цесаревна стояла у темной опочивальни. Ее шубка распахнулась. Длинная белая рубашка голландского полотна спускалась ниже колен, мягко огибая высокое, юное, гибкое тело. Полная грудь часто дышала. Был неизъяснимо прекрасен и зовущ томный, грудной голос с новыми, несслыханными, низкими нотами, когда едва слышно сказала она – царевна сказки – ему, Иванушке-дурачку, в своем чудодейственном терему:

– Да иди же, когда тебя зовут!..

Одним прыжком Разумовский был подле цесаревны и, охватив сильными, горячими руками ее поперек стана, приподнял и понес, как коршун несет горлинку, и бережно положил на постель.

– О, чаривниченько моя, – прошептал он и покрыв ее страстными поцелуями...

IX

Цесаревна Елизавета Петровна была зачата в те дни, когда начиналась полтавская победа, завершавшая долгую и тяжелую войну со шведами, и когда рождалась великая слава российская. Елизавета Петровна родилась 19 декабря 1709 года в Москве. Как и ее старшая сестра Анна, она была незаконной дочерью царя Петра и лифляндской солдатской женки из Мариенбурга, добычи Меншикова – Екатерины Скавронской. Что до того! В тот день, когда она родилась, с Московского Кремля палили пушки: в Москву, в триумфальном шествии, входили сотни пленных шведских генералов и офицеров и тысячи солдат – полтавская виктория доказалась до царской Москвы...

Цесаревне Елизавете Петровне шел двенадцатый год, когда 4 сентября 1721 года она подошла утром к окну. Невская ширь у слияния Большой Невы с Малой была в частых белых гребешках, поднятых свежим западным ветром, и в ярких, режущих глаз солнечных сверканиях. По Неве каким-то призраком, сонным видением поднималась, переваливаясь на волнах, с туго надутыми парусами яхта ее отца.

Она ежеминутно окутывалась дымом трех медных пушечек. Дымы вылетали круглыми шарами, точно громадные клубки белой шерсти, и ветер сейчас же разметывал их в длинные, лохматые клочья, которые низко летели над водой. На носу, под узким, треугольным розово-прозрачным в солнечном свете кливером, стоял трубач и в золотую трубу, не умолкая, трубил. Все это было ярко, красочно, не похоже на настоящую жизнь, было точно свежая картина голландского мастера с блестящими красками. Во всем: в пестрой красоте красок, сверкании водной шири, в звуках пальбы и трубных зовов, в запахе моря, принесенном ветром с залива, – чувствовался приближающийся необыкновенный праздник. Все волновало и заставляло сердце трепетать ожиданием. Невские берега расцвелись заполоскавшими и сразу надутыми парусами бесчисленных яхт, лодок, шняв и галиотов. Пестрые лодки с вельможами, генералами, офицерами, с простым народом, кто под парусами, кто на веслах понеслись, полетели за отцовской яхтой к Люст-Эланту, к Троицкому на нем собору.

Мать Елизаветы Петровны заволновалась, засуетилась, забегали денщики, поспешно приодели Елизавету Петровну и ее сестру Анну, подали к дворцовой пристани шлюпку, и все сели в нее. У матери было лицо красное, встревоженное и радостное, поминутно орошаемое слезами. Гребцы торопливо гребли, враз отваливаясь назад, и плескала быстрая волна.

На Троицкой площади уже толпился народ. Сотни лодок непрерывно подвозили новых и новых петербуржцев. Отцовская яхта причаливала в этой массе лодок. На ней, на корме стоял Петр и, придерживая под мышкой румпель, махал свободной рукой с белым платком и кричал народу на лодках и на берегу: «Мир!.. Мир!..»

Неожиданно, так, что Елизавета Петровна испугалась, с Петербургской крепости загремели пушки, им ответили другие от Адмиралтейства и «ба-ба-бах, бах-бах» пошло полыхать и перекатываться по Неве, по островам и по городу.

Елизавета Петровна с матерью и сестрой пробрались к отцу. Он был в необычайном возбуждении и, казалось, никого не видел. Солдаты бегали по площади,нося привезенные на прискакавших подводах доски. Они устанавливали на пыльной площади, у голубого деревянного собора столы и скамьи. Люди стекались со всех сторон и толпились около этих столов и скамей. Торжественный перезвон колоколов раздался с собора, его подхватили другие петербургские церкви и медными зовами напоили свежий осенний воздух. Вокруг Троицкого собора,

как драгоценная оправа, стояли березы в золоте увядающих листьев, за собором шумел густой сосновый лес.

Духовенство прибыло в собор. Елизавета Петровна помнит тесноту и давку в соборе, куда она с матерью едва протолкались, помнит молебное пение, заглушаемое звонами колоколов и пушечными выстрелами, стуком топоров и треском досок на площади. Когда вышли из церкви, на площади уже готовы были столы, скамьи, стояли бочки с вином и пивом и посередине было возвышение, украшенное еловыми ветками и пестрыми флагами. Ее отец в преображенском кафтане широкой, могучей поступью взойшел на помост и стал на нем – прямой и громадный. Гомонившая на площади толпа стихла. Все головы внезапно обнажились. Ее отец снял шапку, и в мертвую тишину площади вошли его громко и с силой сказанные слова:

– Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что толикую долговременную войну, которая продолжалась двадцать один год, Всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швецией счастливый вечный мир!..

Особенным, тоже точно и не наяву это было, представлялся в эти минуты Елизавете Петровне ее отец. Громадный, с колыхимыми ветром длинными, пробитыми сединой, слегка выющимися волосами, с прекрасным, возбужденным счастьем полной победы лицом, он принял поднесенный ему серебряный плоский ковш, зачерпнул им из бочонка вина и еще раз воскликнул:

– Здравствуйте, православные!

Лес рук поднялся над головами. Черные шапки, белые платки замахали, заиграли над толпой. Раздались ликующие крики: «Виват!..» – а затем великолепное, из самой глубины человеческих душ исторгнутое:

– Ура!.. Да здравствует государь!..

Мать Елизаветы Петровны рыдала подле, не стесняясь, утирая слезы платком. Кругом тоже плакали слезами радости люди. На глазах отца крупными бриллиантами вспыхнули слезы.

Пускай она была незаконнорожденная... Но она была дочерью такого великого отца...

22 октября того же года – как Елизавете Петровне не помнить этого дня, когда ее мать, все окружающие их близкие люди столько раз рассказывали ей со всеми подробностями все это, – после обедни в том же Троицком соборе оглашали с амвона ратифицированный мирный трактат. Архиепископ Новгородский Феофан Прокопович говорил красноречивое слово, и когда он кончил, к амвону тесной толпой придвинулись в красных кафтанах сенаторы сената российского, и канцлер Головкин прерывающимся от волнения голосом начал говорить речь. Эту речь Елизавета Петровна наизусть помнит.

– Вашего царского величества славные и мужественные воинские и политические дела, через которые токмо едиными вашими неусыпными трудами и руководством мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на феатр славы всего света, и тако реши, из небытия в бытие произведены и в общество политических народов присовокуплены: и того ради, как мы возможем за то и за настоящее исходатайствование толь славного и полезного мира по достоинству возблагодарити?.. Однако ж да не явимся тщи в зазор всему свету, дерзаем мы, именем всего Всероссийского государства подданных Вашего Величества, всех чинов народа, всеподданнейше молить, да благоволите от нас, в знак нашего признания толиких отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний, титул Отца Отечества, Петра Великого, императора всероссийского принять! Виват, виват, виват, Петр Великий, Отец Отечества, император всероссийский!!!

Сенаторы и все, кто был в храме, подхватили торжественно признательный крик и трижды прокричали: «Виват!..»

Двадцать полков, только что пришедших из Финляндии, открыли на площади беглый огонь, загремели литавры и барабаны, ударили с крепости пушки...

Елизавете Петровне шел пятнадцатый год, когда 7 мая 1724 года ее мать была коронована императорской короной ее отцом. Может быть, когда-то она и была рожденной вне брака – бастардкой... Теперь она была дочерью Отца Отечества, Петра Великого, императора все-российского и императрицы Екатерины...

Она была цесаревной.

Дитя любви и нарастающего, необычайного, сверхъестественного успеха, она была красива. Ей было около десяти лет, когда придворный художник Л. Каравак изобразил ее обнаженной «во образе Венеры». Она полулежала на мехе горностаевой мантии. В золотистой бронзы назад зачесанных волосах вставлены две розы, детская ручка приподнимает край драпирующей ее мантии. Даже при бедном, скромном и экономном дворе родителей ее наряжали, как куклу. В костюме итальянской рыбацки, в черном бархатном лифе, короткой красной юбке, с маленькой шапочкой на голове и парой крыльев за плечами – она казалась картинкой, мечтой, неземным созданием...

Когда ей минуло двенадцать лет, в январе 1722 года, Петр на большой ассамблее, нарочно для этого устроенной, ножницами обрезал ей эти крылышки. Она была объявлена совершеннолетней.

По смерти отца, при матери, и после, во время царствования своей двоюродной сестры, она любила наряжаться и часто носила мужской костюм, особенно шедший к ее высокому росту, прекрасному сложению и стройным прямым ногам. Она была в нем необычайно грациозна и гибка.

Саксонский агент Лефорт писал о ней: «Всегда легкая на подъем, она была легкомысленна, шаловлива и насмешлива. Она как будто создана для Франции и любит блеск остроумия...»

Английский резидент Рондо писал о ней в 1730 году: «Когда я вижу ум и красоту этой молодой женщины, я не могу не сожалеть, зная, как она себя компрометирует, потому что со временем все это будет известно...»

Уже много позднее, когда Елизавета Петровна стала императрицей и ей шел тридцать шестой год, английский посланник лорд Хиндфорд писал 30 ноября 1745 года: «Ваша светлость с трудом можете себе представить, как замечательно идет императрице военный мундир. Я уверен, что люди, которые ее не знают, приняли бы ее за молодого офицера, если бы только не ее прелестное лицо. В действительности у Ее Величества сердце мужчины и красота женщины, и она заслуживает восхищения целого света...» Враждебно относившийся к цесаревне испанский посланник де Лирия называл ее красоту «сверхъестественной». Французские резиденты Кампедон и Лави считали ее красавицей.

Ей было за сорок лет, когда Екатерина восхищалась ее красотой.

Слухи о чрезвычайной красоте цесаревны прошли по всей Европе. Любой молодой принц был готов предложить ей руку и сердце. У ее матери на этот счет были свои виды и планы.

Из своих путешествий царь Петр вынес различные впечатления. Чистота и тонкость знания морского дела в Голландии его увлекли, он восхищался немецкою аккуратностью и бережливостью, но прелесть совершеннейшей красоты он нашел и оценил во Франции, при дворе Людовика XIV. Версаль вскружил ему голову. В Петергофе, создаваемом им на берегу Финского залива, он повторял то, что видел в Версале. Прямые каналы, длинные ряды стройных фонтанов и вместо широкой дали лугов синева морская. Если сам он смотрел все-таки спокойно на Францию и, восхищаясь ею, никогда не забывал России, то жене его, Екатерине Скавронской, Франция казалась недостижимо прекрасной, какой-то высшей страной, перед которой надо было благоговеть, преклоняться и сближение с которой было бы необычайным счастьем и для нее самой, и для России. У нее росла дочь, ребенком всех чаровавшая своею

красотой, грацией и умом, после Короля Солнца остался его правнук, ребенок-король Людовик XV. Его носил на своем плече Петр. И не было ли в этом какого-то предопределения?..

В селе Измайловском появилась гувернантка-французка – мадам Латур, называвшая себя графиней де Лоней, за ней появился учитель-француз Рамбур. Елизавета Петровна стала хорошо говорить по-французски, она начала читать ту легкомысленную литературу, которую в избытке поставлял ей Париж. Она умела говорить по-немецки и могла понять и несложно ответить на обращение к ней по-английски и по-испански. Она писала каламбуры и стихи на французском языке, и она с неподражаемой грацией танцевала все танцы того времени. Она могла считаться вполне образованной и могла чаровать в обществе.

Она знала, о чем мечтала ее мать. У четырнадцатилетней девочки, Великой княжны, в дорогой шкатулке хранился драгоценный портрет-миниатюра, сделанный художником Буа эмалью. Она иногда носила его на себе. В золотой овальной рамке с крупными бриллиантами, с бриллиантовыми же подвесками, на лилово-сером фоне был изображен прелестный мальчик. Завитые золотистые волосы волнистыми локонами обрамляли нежное лицо и упали завитками на шею. Большие темные глаза смотрели не по-детски серьезно. Он был изображен в стальных рыцарских доспехах, белоснежное кружево шарфа спускалось ему на шею. Сколько грации, неги и красоты совершеннейшей было в этом образе, приехавшем в Измайловское из далекой, прекрасной Франции!..

Сколько раз рассматривала и целовала тайком этот портрет юная цесаревна, сколько раз сравнивала его со своими портретами или с отражением милого лица в зеркале!.. Голубые глаза туманились тогда мечтой, и кто знает, о чем думала в эти мгновения маленькая русская девочка, незаконная дочь Петра Великого?..

Королева Франции?!

Елизавета Петровна знала, что ее мать тоже думала и хлопотала об этом браке. 11 апреля 1725 года императрица Екатерина принимала на аудиенции французского посланника Кампредона. В те дни, после смерти Петра, в самом воздухе, казалось, носился франко-русский союз. Окруженная придворными императрица подошла к Кампредону и, зная, что тот понимает по-шведски, а кругом никто этого языка не знает, сказала ему по-шведски:

– Для меня лично дружба и союз с Францией приятнее дружественных отношений всех остальных европейских держав.

Она выразительно посмотрела на свою младшую дочь, сопровождавшую ее на выходе.

Кампредон низко и почтительно склонился перед императрицей.

Императрица проследовала дальше, но в тот же день послала к Кампредону Меншикова с прямым предложением войти с представлением к своему правительству о браке Людовика XV с принцессой Елизаветой. Кампредон рассыпался в любезностях и комплиментах по адресу Великой княжны и сказал, что все это прекрасно, но... «ввиду того, что Людовик Пятнадцатый король Франции... А король Франции?.. Принцессе Елизавете необходимо перейти в католическую веру»...

Императрица Екатерина, сама в прошлом лютеранка, над этим не задумалась, сама Великая княжна к этому времени была так влюблена в портрет Людовика и так размышляла о браке с французским королем, как можно влюбиться и мечтать в пятнадцать лет, что не видела в этом препятствия, и Кампредону дали понять, что он может послать запрос в Версаль. Но не успел его курьер вернуться из Франции, как по Петербургу был пущен слух о предстоящем браке Людовика XV с английской принцессой.

Екатерина не сдалась. Мысль породниться с французским королевским домом крепко засела в ее голове. Она послала к Кампредону своего зятя, герцога Гольштейнского, с поручением предложить свою дочь в жены герцогу Орлеанскому.

21 мая пришел ответ. В Париже понимали, что Петр Великий умер, что будет с Россией после него – неизвестно. Принцесса Елизавета была незаконнорожденной, и если в России об

этом могли забыть, этого не могли и не хотели забывать в королевской Франции. Предложения Екатерины показались в Версале навязчивыми и неуместными. Там знали, кем была она, и в королевской Франции этого не прощали. Ответ был решительный, мало смягченный обычными дипломатическими, вежливыми выражениями...

«Императрице будет неудобно перед своими подданными согласиться на переход принцессы Елизаветы в другую веру... притом же герцог Орлеанский принял другие обязательства...»

Это был жестокий, тяжкий удар по самолюбию Елизаветы Петровны. Как ни юна она была в эту пору, она поняла, что и то, что она была дочерью Отца Отечества, императора Петра Великого – не могло стереть нечто в ее прошлом, что осуждалось всеми и бросало тень на ее мать и на нее саму.

Кто знает, сколько тайных девичьих слез было пролито тогда перед портретом Буа, изображавшим мальчика в рыцарских доспехах...

Мечты были разбиты, как тонкая хрустальная ваза, упавшая на пол, разлетелись, как карточный домик от дуновения губ. Версаль!.. Версаль!.. Его сады, фонтаны, широкий вид полей за ним, королевские охоты – вся магия самых слов этих исчезла, и ничего не осталось, кроме больного воспоминания.

Потом, и как-то очень быстро, императрица, может быть, осознавшая, какая бурная кровь течет в ее дочери, и торопившаяся выдать ее замуж, стала искать других женихов... попроще... Елизавету Петровну сватали побочному сыну Августа II – красавцу Морицу Саксонскому, но в этом помешала политика, вопрос о Курляндском герцогстве сорвал все дело.

Затем была тихая, красивая и благородная любовь уже к настоящему жениху – епископу Любской епархии Карлу Августу Гольштейнскому, младшему брату герцога Гольштейнского. И тут злой рок преследовал Елизавету Петровну. Вскоре после помолвки жених неожиданно скончался. В это же время умерла и мать Елизаветы Петровны, и та лишилась защиты и руководства. Она была предоставлена самой себе.

На престоле оказался тринадцатилетний племянник Елизаветы Петровны, сын царевича Алексея, казненного ее отцом, – император Петр II. Он без ума, как может влюбиться только мальчик, полюбил свою прелестную семнадцатилетнюю тетку, – и Остерман, вельможа, выдвигавшийся из тьмы, мечтая этим браком закрепить дело Петра Великого, хотел просватать тетку за племянника, но... их родство было слишком близко, и церковь не допустила этого брака.

Были – остались сладким, больным воспоминанием – общие охоты пешком с мушкетом, где тетка кружила голову мальчику своим мужским костюмом и на коне с борзыми, да долгие прогулки верхом, полные вздохов, юных стихов и раздражающей близости... Императора Петра II обручили с Екатериной Алексеевной Долгоруковой – девицей из старой боярской аристократии и не батардкой... У власти стали люди, враждебные Петру Великому и его реформам. У смертного одра юноши императора, скончавшегося 19 января 1730 года, никто не вспомнил про дочь Петра Великого – престол был передан другой линии – дочери брата Петра – царя Ивана – Анне Иоанновне.

За пять лет созревания – с пятнадцати до двадцатилетнего возраста – Елизавета Петровна пережила столько взлетов и столько падений. Взлеты становились все ниже – от этого не были меньше падения. Она мечтала быть французской королевой – дорогой портрет говорил ей, что она была бы в полной гармонии с мужем-королем – ее поставили на место и оскорбили ее. И все-таки велика была ее любовь к этому никогда не виденному ею мальчику с не по-детски серьезными глазами, что она навсегда сохранила, несмотря на оскорбление, ей нанесенное, верность и любовь ко Франции. Она мечтала быть герцогиней Орлеанской и стать близкой Версальскому двору – ею пренебрегли... Она могла стать герцогиней Курляндской – ей в этом помешали ревность Польши и нежелание Курляндии иметь герцогом Морица Саксонского... Смерть отняла от нее жениха, скромного и тихого епископа, ее привели к сладостной близости

с мальчиком-императором и дали ей понять, как только стало это возможно, всю силу ненависти и презрения московской боярщины к ее отцу и к ней... вне брака рожденной...

Это было, пожалуй, самое мучительное и обидное. Она чувствовала себя выше, умнее, образованнее и красивее всех этих вдруг снова появившихся с Долгоруковыми жеманных боярышень – ею пренебрегали – шепотом говорили о ней и о ее матери нечто такое скверное, что ее щеки пылали и глаза горели от негодования...

В царствование Анны Иоанновны о ней как-то позабыли. Ее старались держать подальше от двора. Она поселилась в Александровской слободе. Ее окружали слободские девушки – народ простой, рослый и красивый. Были шумные весенние хороводы, качели, деревенские танцы и песни, долгие зимние посиделки с пряниками и жамками, с вином, пивом и медом. Простые люди, окружавшие ее, ей нравились. Они благоговели перед памятью о ее отце, они, не скрывая своих чувств, обожали ее. В ней текла кровь Петра Великого, и родила ее солдатская женка. Темперамент в ней сказывался. Были страстные поцелуи в кустах сирени, когда сладостно и томно пели соловьи в высоких березах, была порывистая, сильная, горячая, грубая страсть, отвергнуть которую не хватило сил: кровь заговорила. Воспитанная французами, на французской литературе, она «бросила чепец через мельницу». Страшен был первый шаг, но когда он был сделан – выбирать было нечего, она отказалась и думать о браке. Вечная цесаревна! Высокая, красивая, с обаятельной улыбкой на губах, она ходила по избам крестьян Александровской слободы, в Петербурге бывала в солдатских слободах, крестила солдатских детей и кумой гуляла на простых незатейливых погулянках.

Ей льстило и нравилось, когда ей говорили: «В тебе течет кровь Петра Великого!.. Ты искра Петра!..» Ее обожали солдаты, духовенство ценило ее за простоту и доброту... Никто не мог ее осудить – слишком обаятелен был ее образ и прекрасны все ее поступки.

Она увлеклась Шубиным. Ей казалось – надолго. За неосторожные слова Шубина пытали и сослали. Под пыткой он не оговорил ее.

От этого еще дороже он стал ей. Ее сердце было переполнено любовью и признательностью к нему. Она серьезно готовилась поступить в монастырь – вместо того попала в объятия Разумовского. Она увидела в этом казаке такую необычайную верность, страсть и любовь, что почувствовала, что в нем нашла господина в любви и самого верного раба во всем остальном. Этот не продаст и не изменит. Она слушала его рассказы о его детстве и о том, как отец говорил о себе: «Гей, що то за голова, що то за розум!» Она поверила и доверилась «розуму» сына этого казака. Она нашла в нем тихую пристань от своих порывистых увлечений. Вскоре после сладких व्यюжных дней на Дудоровой горе она назначила Разумовского управляющим своих имений, сделала его своим гоф-интендантом, осыпала его подарками и позаботилась о всей его семье.

С этого дня она стала называть его – не при людях – Алешей и в письмах писала ему: «Друг мой нелицемерный...» Казалось, утомилась, успокоилась ее бурная кровь. Ни о чем другом она не мечтала, как жить в радости, веселье и красоте. Сама красота – она любила красоту во всех ее видах, любила она жить и умела пригоршнями брать радости и наслаждения от жизни.

В бурных плаваньях по житейскому морю Алексей Григорьевич Разумовский стал для нее надежным якорем спасения от одолевавших ее временами страстей.

Часть вторая

I

Рита, сбросив на руки солдата епанчу, покрытую дождевой сыростью, быстрыми, мужскими шагами вошла в гостиную. Она остановилась в удивлении. В глубине комнаты, в углу, где стоял небольшой стол палисандрового дерева на круглой тумбе, покрытой резьбой, в креслах против ее отца сидел высокий, статный человек в простом черном кафтане и шелковых панталонах. Он был в гладком белом парике с буклями. От парика чернее и гуще казался широкий дугобразный размах темных бровей. Тихий огонь прекрасных глаз, сиявших на матово-бледном красивом лице, вспыхнул навстречу Рите. Она сейчас же узнала гостя: их прежний постоялец, бывший певчий Алеша Розум, теперь фаворит цесаревны Елизаветы Петровны, ее придворный интендант и богатый владелец многих имений, подаренных ему цесаревной.

Рита смутилась. Она не знала, как теперь себя держать с ним. Тогда... но ведь это было десять лет тому назад, и они тогда были так наивны и молоды... Теперь его положение так круто изменилось... Столько воды утекло!

Разумовский встал ей навстречу, подошел и просто и сердечно протянул ей обе свои красивые, с длинными пальцами руки.

– Не признаете меня, Маргарита Сергеевна, – сказал он, и она услышала милый, глубокий звук его голоса и чуть заметный малороссийский акцент в русских словах. Так много это все ей напомнило.

– Как не узнать, сударь Алексей Григорьевич... Конечно же сразу, как вошла, так и узнала, и так порадовалась, что вы нас не забыли и в своем возвышении не гнушаетесь нами, простыми солдатами.

– Могу ли я забыть благодеяния вашей семьи в начале жизненной карьеры моей, меня озарившей... Я помню, как вы учили меня... И танцевать... и стихи придумывать... Представьте, ведь пригодилось...

Рита смутилась и покраснела:

– Да, вот как, – сказала она, потупив глаза. – По-прежнему поете...

– Увы, Маргарита Сергеевна, совсем больше спивать не могу. Так иногда на бандуре потешу Ее Императорское Высочество, думку ей вполголоса скажу, а чтобы по-настоящему... как бывало у вас... – он махнул рукой. – Говорят: пропил голос, – помолчав, добавил он с веселой улыбкой. Рита с волнением ожидала, как назовет он ту, о связи с кем и она, – хотя и были у ней от таких слухов уши сережками завешены, – слышала и боялась, что назовет ее просто, фамильярно, по-панибратски, по-хамски, каким-нибудь уменьшительным простым именем, и успокоилась и даже покраснела от удовольствия, когда услышала, как твердо и уверенно выговорил он полный титул обожаемой ею цесаревны. Она отошла к окну и, стараясь скрыть смущение, стала поправлять цветы.

Разумовский вернулся в кресло и, продолжая разговор, обратился к Ранцеву:

– Да, итак, все строимся, – сказал он. – На мызе Гостилицы пруды копаем, ну – чистые озера!.. А дом – дворец!.. Но главное – это Перово, под Москвой. Ее высочеству угодно было там оранжереи ставить, чтобы свои апельсины и лимоны иметь. Очень они полюбили чай пить с лимоном. Кто-то им сказывать изволил, будто от простого чая, да ежели он к тому еще и крепкий, цвет лица испортить можно. Да, очень там хороший дом ставим... и церковь украсили знатно. Уж очень там охота примечательная... И для собак гарно. Сюда примчались, верите ли, всего четыре дня скакали. Не чаяли, что здоровье Ее Императорского Величества столь плохое. Бачили, и писаки цидулки писали из Петербурха, что-де критический женский

возраст наступил и переносить-де сие время Ее Величеству тяжело... Но чтобы полагать, что опасное – никак и в думах того не было.

– Отчего вы остановились в городе, а не во дворце? – спросил Ранцев.

– Помилуй, Сергей Петрович, где же там. Все переполнено. Герцог Курляндский неотлучно ныне там пребывать изволит, Ее Высочество, герцогиня Брауншвейгская Анна Леопольдовна, племянница императрицы с мужем и дитем. Все покои заняты... Да притом... Что говорить!.. Чай, и сам знаешь, какое там наше положение.

Разумовский с досадой махнул рукой и замолчал. Ранцев строго посмотрел на него и с суровым блеском глаз сказал:

– Сударь, меня достаточно знаешь. Я не из тех, кто притворной и фальшивой рукой доносы пишет... Я великой скорби о Родине моей полон и с тобой особливо хотел обо всем поговорить. Ты по своему положению многое можешь...

Разумовский перебил его:

– Положение... Хорошо положение... Ось подивиться! Мы три недели здесь и добиться не можем, чтобы государыня императрица Ее Императорское Высочество принять соизволила... Три недели выслушиваем один ответ: недужится, дескать, Ее Величеству и не может она видеть государыню цесаревну. Что они там уси, посказались?.. Ведь сестры они двоюродные, одного деда внуки!.. Так вишь ты – не хочет...

Старый Ранцев, слушавший с низко опущенной головой, поднял чисто бритое, посеревшее лицо и с глубокой печалью сказал:

– Нельзя ее винить ни в чем... Не в своей она воле. Может, что и думает, а сказать, хотя и самодержица, не смеет. Одолели ее проклятые немцы... Всегда она на людях... Без своего надзора ни на миг ее не оставляют. Войди в ее положение.

Рита быстро повернулась от окна и выпрямилась. Ее голос прозвенел в комнате, глубокий и сильный. В нем послышались затаенное страдание и слезы:

– Батюшка, то все неправда, что не хочет матушка государыня видеть сестрицу свою. Все си дни я была на дежурстве при Ее Императорском Величестве и только одно от нее и слышала: почему-де не приезжает цесаревна... Я хочу... Мне надо ее видеть... Вы слышите, Алексей Григорьевич, ей надо видеть цесаревну. Алексей Григорьевич, ведь судьбы российские решаются...

– Да нешто так плохо, – вставая от стола, сказал Разумовский. – Подумайте, она уже год как верхом на лошадь не садится. Это она-то, кто так обожает езду и лошадей. А каких ей жеребцов из Дании понавели!.. Да если увидите ее – не узнаете, так она переменилась. – Ну... а врачи... Что говорят врачи?..

– Разве могут они что понять?.. Врачи не боги... и притом все иностранцы... Нашли камни в почках и печени. Боли ужасные. Инде начнет кричать, так мороз по коже продирает. Ни шутов, ни карликов своих и видеть не желает. Всех прогнала. Только комнатных служительниц Анну Федоровну и Авдотью Андреевну и допускает к себе. Шестого октября, когда садилась императрица за стол, сделалось с нею дурно. Ее без памяти отнесли в постель. Первый медик Фишер сказал Бирону, что-де очень сие дурно, что ежели болезнь усилится, за духовником посылать надобно, а португалец Антоний Рибейро Санхец, придворный врач, доложил герцогу, что-де пустяки сие все, без следа само собою пройдет... Как же при таких-то обстоятельствах цесаревне не повидать Ее Величество?! Верное твое слово, Маргарита Сергеевна, а не придумаем, как сие исполнить. Не силой же врываться ее высочеству к императрице. Всякий раз, как Ее Высочество жаловать изволили во дворец, ее встречал или Бирон, или Остерман и доступа к Ее Величеству не давали.

Рита внимательно и строго посмотрела в глаза Разумовскому.

– Ах, так... – сказала она и продолжала тоном приказания: – Я подлинно знаю, сегодня в сенате в четыре часа будет какое-то особое совещание. Его собирает сам герцог Курляндский

Бирон. Приглашены герцог Брауншвейгский Антон Ульрих, фельдмаршал Миних, Трубецкой, кабинет-министр Остерман, князь Остерман, князь Черкасский, Бестужев, адмирал Головин, граф Головкин, князь Куракин, Нарышкин, генерал Ушаков... Их никого во дворце не будет. Принцесса Анна не в счет... Часовые цесаревну знают и пропустят ее беспрепятственно. Так важно, Алексей Григорьевич, чтобы они повидались и поговорили. Вспомните, сколько бед произошло через то, что Петр Великий не успел сказать своего последнего слова. То же самое повторяется. Опять слово сие скажут те, кому далеко благо государства Российского. Бирон и Остерман завладеют властью... Боже!.. Боже!.. Неужели Ее Высочество не хочет внять мольбам тех, кого она так сама любит: солдат ее отца!..

Разумовский был в большом смущении. Он, видимо, тронут был и до глубины сердца почувствовал то, что сказала ему Рита. Он прошелся по комнате, ломая пальцы, и остановился против Риты.

– Е, ни, Маргарита Сергеевна, – сказал он с тревогой в голосе, – треба знать все... Ума не приложу, как сие нам сделать... Все так несчастливо склалось. Ее Императорского Высочества сегодня нет в Смольном доме ее. Ее нет в городе. Она еще до рассвета уехала охотиться на чучелы за Невскую заставу и ночевать полагала в Царском Селе!

– Надо, не медля ни часа, скакать за нею.

– В такую погоду кто поскачет и куда? Вы знаете, что по распоряжению петербургского генерал-полицеймейстера все рогатки закрыты и никого без пропусков не выпускают из города. Ось подивиться, как склалось!

– Какая досада, что полицеймейстером не наш граф Антон Мануилович Дивьер, – сказал полковник Ранцев. – Будь он здесь, я мог бы его попросить.

– Да, будь он, – сказал Разумовский, – будь он... Но он в Сибири, в Охотске... Что же делать?... Как дать знать цесаревне?

Рита выпрямилась и стала, как grenadier ее отца, – «стрелкой». Ее глаза блистали вдохновением и решимостью.

– Я знаю, что делать! – сказала она. – Где поставлены чучела для охоты ее высочества?..

– На Рожковской земле, за речкой Волковкой, в роще.

Рита сделала общий поклон отцу и Разумовскому, повернулась и скрылась за дверью. Брякнул колокольчик на пружине, Рита вышла на улицу.

Старый Ранцев одобрительно качнул головой, раскурил трубку и сказал, кивая на дверь:

– Славная у меня девка выросла, настоящая солдатская дочь... В огонь и воду, не страшась, полезет... Ей мальчишкой надо было родиться... А замуж никто не берет... Двадцать шестой пошел... Так и не выйдет. Как наша цесаревна... Будь теперь покоен. Она своего добьется...

Он окутался клубами сизого дыма и замолчал. Молчал и Разумовский. Когда Рита вышла на Мойку и налетевший шквал закрутил около ее ног епанчу, она еще не имела плана, что ей делать. План слагался в пути. Было только сознание важности во что бы то ни стало разыскать цесаревну и доставить ее во дворец. Это нужно для России. Но кто поскачет в такую погоду, кому можно поручить дело такой важности и опасности? Рита сознавала, что, если Бирон узнает про это, пощады не будет...

У Риты была детская любовь – вахмистр конной гвардии Лукьян Камынин. Когда появился в их доме Алеша Розум, Рита в сердце своем изменила Камынину, увлек ее Розум своей первобытной красотой. Потом это сгладилось, Розума она позабыла. Камынину позволяла называть себя «любезной», писать любовные письма, танцевать на куртагах и балах, быть ее кавалером на маскарадах. Она все ждала, что Камынин сделает ей предложение, но вахмистр ждал производства в офицеры, ждала и Рита: не тем было занято ее сердце. Сейчас подумала о нем. Ему-то легче всего было бы это исполнить. Но вспомнила его холеное изнеженное лицо

петиметра, пудру на носу и на щеках, мушку, наклеенную где-нибудь на лице, вспомнила, что у него дядя Бестужев, и поняла, что Камынин ни за что не поскачет. Своя шкура ему Родины дороже... Был бы в Петербурге ее брат – он пешком бы побежал, преодолевая все препятствия, но Петр Ранцев был в Новой Ладогe. Ну что же, поскачет она сама.

Ветер ударил по юбке, забились, заметались камышовые фижмы. Как скакать в этом платье?... На чем?... На палочке верхом, что ли?

Но мысль вошла в ее голову, и Рита не хотела отказаться от нее. Все ей казалось заманчивым, походило на героизм, описываемый в романах. Она переоденется в мужской костюм, достанет лошадь, и это она, Рита Ранцева, предупредит обо всем цесаревну.

В кадетском корпусе у Камынина был брат – фельдфебель. Мальчик без ума был влюблен в Риту и называл себя ее пажом. Он-то, пожалуй, и поскакал бы, но цесаревна его не знает, ему она не поверит, да он и не найдет ее в лесах. Нет, поскачет она сама. Она ободрилась, найдя решение, и ускорила шаги. Она знала, как и где она все сделает и все для себя достанет.

Рита вышла на Неву.

Серые тучи низко неслись над рекой. Холодный ветер бил дождевыми струями в лицо Рите. Он поднял большую волну, и мосты на Васильевский остров, где помещался кадетский корпус, были разведены. Река в темных валах, шипящих пеной, с глухим шумом била в осклизлые бревна набережной. Плоты болтались у схода. Шлюпки и ялики у пристаней были крепко привязаны. Ни одного паруса, ни одной лодки не было на Неве. На перевозах в вонючих будках, на овчинных шубах крепким сном спали яличники. Не надо было их Рите. Она родилась и выросла в Петербурге, на Неве. Петербург ей был отцом, Нева – матерью. Рита добежала, кутаясь в епанчу, до пристани, где стояли лодки Преображенского полка, вскочила в маленький, круглый и пузатый, как скорлупка грецкого ореха, тузик, вложила весла в уключины, отвязала причал и оттолкнулась от пристани.

– Ай, барышня, – кричал ей с набережной матрос, – топиться, что ль, восхотела?..

Она ничего не слышала. Плеск волн, шум ветра в ушах точно отделили ее от Петербурга. Заботная мысль, твердое решение, смелая воля заставляли ее забывать непогоду и бурю.

Тузик подбросило волной, качнуло, ударило об воду, обдало Риту брызгами. Она поддерживала лодку веслами. «Петербург – отец, Нева – мать», – подумала она и гребла, не оглядываясь, по корме направляя свой путь.

На середине реки ей показалось – не справится. Волной так бросило тузик, что он сильно зачерпнул обоими бортами, но выпрямился. Нева хотела вырвать у нее из рук весла. Она смеялась: «Что ты, матушка-Нева, делаешь?... Ишь как расшалилась!..» Под островом волна стала меньше, и Рита ловко причалила к кадетской пристани.

В корпусе она вызвала фельдфебеля Ивана Камынина. Юноша, увидав Риту, зарумянился от счастья.

– Боже мой, Риточка, – воскликнул он, – какое счастье!.. В такую погоду!.. Каким счастливым ветром тебя к нам занесло?... Чаю, совсем промокла?..

– Слушай, Иван, – сказала Рита. Лицо ее было строго и серьезно. – Исполни без всякого возражения все, что я тебе скажу!

– Рита?!

– Поклянись, что сделаешь по моей воле!.. Ибо сие очень важно для меня.

– Ну что за тайна?... Ну, клянусь...

– Нет, так не годится. Не «ну, клянусь», а клянись как следует. Перекрестись и Богом клянись, что все сделаешь и будешь потом молчать, как рыба нем будешь.

Кадет перекрестился на образ и серьезно сказал:

– Именем Господа Иисуса Христа обещаю исполнить, что моя маленькая повелительница мне прикажет... Ну, скажи теперь, что за тайна.

– Тайна вот в чем... Сегодня дневной маскарад... И мне надо одного человека там проследить и проинтриговать. У меня нет такого костюма, который бы он не знал. И я вот что придумала: ты дашь мне свой мундир, я надену его, и никогда никто меня не узнает в нем.

Камынин восхищенными глазами смотрел на Риту. Этакая затейница!.. Дать свой мундир Рите?.. Видеть ее в нем, а потом самому хранить его, как святыню!.. Так все это было прекрасно.

– Ты и парик мой надень. Никто тебя тогда не узнает. И как пойдет к твоим темным глазам... Но где ты думаешь переодеться?

– Мне нужно переодеться здесь... Дома не должны о сем знать.

– Здесь... Здесь, Рита, невозможно. Каждую минуту могут выйти воспитатели или кто из товарищей.

– Придумай что-нибудь, если меня любишь. Сие все надо сейчас сделать. Медлить я не могу.

Юноша задумался.

– Слушай, – сказал он, – у тебя деньги есть с собой?

– Есть.

– Пойдем тут рядом в нашу парикмахерскую. Там есть отдельная комната. Ты иди сейчас одна, я прибегу за тобой и все принесу.

– Принеси мне и свой ярлык, а то, сам знаешь, может кто-нибудь меня встретить, так чтобы все гладко было...

– Изволь, сейчас.

Переодеваться было тесно и неудобно. Каморка была маленькая, но в ней было зеркало, и Рита с удовольствием не узнавала себя в нем. Из зеркала смотрел на нее задорный молодец-кадет. Она позвала Камынина.

– Что, хорош?.. – сказала она, приветствуя его по-военному. – Не узнаешь?.. И мундир как по мне шит.

– Тютелька в тютельку пришелся... А ты... Прямо в гренадерскую роту... Рита... Ну, за сие!.. Один малюсенький поцелуйчик.

Рита была счастлива, что начало вышло так удачно.

– Изволь, любезный, – и она крепко в самые губы поцеловала юношу. Тот зашатался от счастья. – А теперь до свиданья.

– Рита, еще...

– Довольно, милый мальчик, – и Рита быстро выскочила на улицу. На том же тузике она переправилась обратно через Неву и на извозчицкой двуколке помчалась в Конный полк.

Когда Рита подъезжала к казармам на Таврической улице, повалил снег крупными хлопьями. Был полдень, и солдаты обедали. На сером пустынном дворе, мощенном крупным булыжником, было грязно и мокро. Стеклопанная слякоть снежинок хлопала под башмаками Риты. Закутавшись в плащ, чтобы не быть узнанной, она прошла на конюшню. Больше всего она боялась, что дежурный капрал знает в лицо брата своего вахмистра. Капрал холодно выслушал просьбу кадета дать ему лошадь, качнул головою в каске и сказал:

– Точно... Есть такой нам приказ, чтобы фельдфебелю Камынину лошадей отпускать безо всякого препятствия. Да, вишь ты, погода-то какая... Не иначе к ночи гололедица будет...

– Сие, братец, не твое уже дело. Не тебе ехать, а мне. К ночи я вернусь.

– Куда поедешь?..

– В Екатеринбург...

– Ну да ладно. И точно: мне-то что?.. Известно – не в каретах вам туда ездить... Ерзылев, – крикнул он в темный коридор конюшни, – седлай барину Лоботряса.

Когда Рита на рослом и тяжелом Лоботрясе выехала за ворота казарм, у нее отлегло на душе. На лошади она чувствовала себя как-то увереннее. Оставалась еще застава.

У пестрого городского шлагбаума вместо одинокого сторожа с алебардой она увидела часового от Онежского пехотного полка... Закутанный в бараний тулуп, в громадных валяных черных, войлочных кеньгах, он мрачно посмотрел на подъезжавшего к нему всадника и, не поднимая шлагбаума, молча брякнул ружьем «на руку».

Было сумрачно, туманно, слякотно и сыро. Дали казались крошечным адом. Было безумие ехать искать там цесаревну. Охота могла быть отставлена. Цесаревна могла прямо проехать в Царское Село. Ну что ж, она расспросит охотников и поскачет в Царское.

– Пропусти, камрад, – строго сказала Рита часовому. – Имею приказ ехать в Шлиссельбург.

Солдат не дрогнул.

– Есть приказ – никого не выпускать из города, – мрачно сказал он. Мгновение прошло в немом ожидании. Часовой был непреклонен не пропустить всадника, всадник был настойчив и не отъезжал от заставы. Наконец часовой сдал. Он взял «к ноге» и дернул за веревку колокола. Глухо и печально ударил колокол в сыром снеговом вихре: «Дзын-нь!..» В караульной избе, где за окном желтым печальным светом горела масляная лампа, открылась дощатая дверь, и капрал в голубой епанче, с мушкетом с примкнутым багинетом вышел к Рите.

– Что за человек? – спросил он. – Никого не велено пускать.

– Да ты знаешь, кто я, – отворачивая епанчу и показывая шитье обшлагов, сказала Рита, – я – фельдфебель!..

– Ну-к что из того?..

– То, что ты должен меня пропустить. В российской армии есть только три чина, начинающихся со слова «фельд»: фельдмаршал, фельдцейхмейстер и фельдфебель... Понял?..

– Ну?..

– Фельдмаршала Миниха ты знаешь?..

– Знаю.

– Фельдмаршала Миниха пропустишь?..

– Пропущу, – не колеблясь, сказал капрал.

– Ну, так и меня пропустишь, – решительно сказала Рита. – Прикажи часовому поднять шлагбаум.

«Дело, кажись, простое, – размышлял капрал, – а вишь ты, какая завертка вышла. Фельдмаршал, фельдфебель и фельд... фельд... Фу черт, и не выговоришь, какой еще там фельд объявился. Без дела кого в такую погоду понесет?.. А дело?.. Черт его знает, какое у него там дело!.. И пропустишь – ответишь, и не пропустишь – все одно шума наделает, почему его, фельда сего чертова, не пропустили, отвечать придется... И ярлык печатный сует... Фельдфебель!.. И точно какой-то тоже фельд...» Капрал мрачно покосился на розовый картонный билет, который совал ему в руки всадник на конногвардейской лошади, и махнул часовому рукой:

– Пропусти...

Шлагбаум поднялся с протяжным скрипом, и Рита, нагнувшись под ним, поехала по грязной, черной, покрытой длинными лужами дороге на Рожковскую землю.

II

Эти места Рита знала хорошо. Не раз она бывала здесь в свите императрицы на охотах. Вправо пойдет дорога через березовую рощу, за рощей будет поле, за полем сосновый лес, а там и речка Волковка. Охоты всегда там заканчивались.

У въезда в березовую рощу лошадь заупрячилась, и Рита ее ударила хлыстом... Та пошла, храпя, тяжелым, настороженным шагом. В лесу снег не таял и лежал блестящими поло-

сами на сухих листьях. От снега, от белых стволов берез, от безлиственных тонких ветвей здесь было светлее, и казалось, что прояснивает. Дорога, топкая и грязная, углублялась в лес. В глубоких длинных колеях чернела вода. Копыта лошади хлюпали по размокшей земле. Рита рассчитывала, успеет ли она захватить цесаревну у Волковки, где должны быть ягдвагены, или ей придется догонять ее по дороге в Царское Село. О том, что она, девушка, одна, переодетая в кадетский мундир едет по глухому лесу, она не думала. Приближающееся достижение цели влекло ее.

Навстречу ей по лесу шел человек. Будто нищий, каких Рита видала на паперти Преображенского собора. Невысокого роста, сутулый, одетый в рваный полушубок и в лапти, в сваленной, собачьего меха шапчонке, с лицом, обросшим косматой бородой, с дубинкой в руках, он шел, переваливаясь, навстречу Рите и зорко поглядывал по сторонам. Но он ничуть не показался страшным Рите. Шагах в десяти от Риты он приостановился, как бы раздумывая, уступать ли ему дорогу всаднику и становиться в грязные лужи. Потом вдруг вложил пальцы в рот и так пронзительно свистнул, что лошадь Риты остановилась как вкопанная и затряслась. В тот же миг с гомоном и криками к Рите бросилось из леса пять таких же оборванцев. Они в одно мгновение окружили ее. Кто-то схватил ее за ногу, кто-то ударил ее под грудь. У Риты потемнело в глазах. Она потеряла сознание, и последняя мысль была: «А кто же даст знать цесаревне?»

– Я как вдарил яво под микитки, провел рукою повыше, гля-кося что у яво!.. Баба!.. – смеясь, говорил чернобородый оборванец, тащивший Риту за плечи. – Вот так добыча...

Другой, несший Риту за ноги, с веселым смехом отвечал:

– А ножки!.. Глянь, робя, махонькие какие... Не иначе как боярская чья дочь.

– Вот энто, братцы, будет, значит, в нашем стану ба-альшая потеха, – сказал шедший сзади всех маленький, крепкий, белобрысый мужичок с белесыми волосами и свиными белыми ресницами на припухших красных веках.

– В сторожку ее, товарищи, там таперя в такую погоду никто не заглянет. Там и разделаем, кому что...

Радостные голоса гулко звучали по затихшему лесу и эхом отдавались вдали.

– Кому – клин, кому – стан, кому – цельный сарафан.

– Знатная, братцы, девчонка... И куда она так переодевалась?..

– Ярема, а коня?.. – кричал возившийся подле Лоботряса оборванец. – Конь-от солдатской.

– Вяди и коня к сторожке. По сумам надоть пошукать, не найдем ли чего гожего бродячей артели. Апосля и коня и всадника там и бросим. И концы, значит, в воду... Коня живого, а тую...

– Звесно, коня что ж... Конь не скажет.

– Даже боле того: конь – отвод глаз. Улик не на нас.

– Знатная добыча... Нежданно-негаданно.

Раскрыли двери в сторожке, внесли добычу в чистую бревенчатую избу. Осенние сумерки пасмурного непогожего дня тусклым светом освещали внутренность небольшой горницы. Разбойники столпились около добычи, огляделись и притихли.

В растерзанной одежде, со сбитым набок париком с косой, из-под которого разметались темные женские волосы, на грязной епанче, на широкой сосновой лавке жалкая и беспомощная, как малый ребенок, лежала молодая девушка. Темный синяк вздулся над глазом, по щекам текли тонкие струйки алой крови.

– Ай померла? – спросил рыжий оборванец, привязавший коня к дереву и вошедший последним в избу. Его голос был робок, и сам он испуганно смотрел на девушку, распростертую на лавке.

На него цыкнули.

– Ну, чаво?.. Ничаво не померла! Дышит.

– А белая какая...

– Красивая.

– Хоть куда девка.

Пять взрослых, немолодых, голодных самцов толкались подле лежащей без сознания женщины, и томное, мучительное вожделение все сильнее охватывало их.

– Что ж, – задыхаясь, проговорил чернобородый, тот, кто первый ударил Риту под грудь, – так приступить, что ль, али погодить, пока совсем отойдет?

– То-то приступить!.. Ты, что ль, приступить-то будешь?..

– Ну, я.

– А почему ты? Ты что за атаман, что тебе первому и добыча?..

– Каждому хочется первому.

– Сие, братцы, жребий надоть кинуть... Канаться...

– Сказал тожа – канаться!.. Я первой увидел, я первой тревогу исделал, я первой вдарил, я определил, что-де за солдат такой едет с бабьими грудями... А ты что?.. Коня вязал! С конем и вожжайся.

– Постойте, погодите, ребятки, чаво там шумите!.. Допрежь всего надо на сторожу кого ни на есть поставить. А то нехорошо так... Неладно, ежели кто войдет...

– Ну, сказал – войдет!.. Кто сюда в этакую чащу заглянет. Опять же по всему Питеру заставы понаставлены, никого не пропускают... Да и погода!..

– Точно, что погода, – вздохнул белобрысый, до сих пор безучастно стоявший у дверей.

– Да, погодка, – согласились все. – Ну-к что ж, раздевать будем.

– Погодь!.. Раньше – канаться!..

– Чего там канаться!.. Я первой подозревал, я первой вдарил, я и первой...

Чернобородый подошел к девушке и стал стягивать с нее разорванный кадетский кафтан. Опять посыпались советы и споры. Разбойники топтались кругом, возбужденные, жадные, совсем осатанелые. Изба наполнялась смрадом мокрых онучей, полушубков, невымытых, грязных, потных тел.

– Хоть бы рожу ей обмыли!

– И так ладна будет.

– А ну, коли мертва?

– У, дурья голова, заладил одно – мертва да мертва! Не видишь, что ли, кровь капит.

Рубашку под алым камзолом сорвали и на миг оцепенели при виде молодой белой груди, под которой темным пятном вспух синяк.

– Ишь, как ударил-то, варнак!

– Вы постойте, товарищи... Вы погодите, чего зря лезете. Не мешайте, кому черед нет.

– Он все свое!.. Черед какой!..

– Канаться!..

Дикий, громкий хохот потряс избу. В жадные минуты безумного вожделения всякая осторожность была оставлена и позабыта. Девушку приподнимали, чтобы стянуть с нее рубашку, толкали, тащили с ног тяжелые, набухшие на дожде башмаки, и от этих толчков, от шума, от крепких разбойничьих щипков Рита очнулась. Темные, налитые страданием глаза раскрылись и несколько мгновений смотрели безумно. Рита ничего еще не понимала, ничего не соображала, потом вздохнула тяжело, вспомнив и поняв, что произошло, и начала сопротивляться.

– А кусается, стерва!..

– Ишь, живучая какая сука!..

– Ты ее, Андрон, за локти ее, за локти!..

– Голову запрокинь!..

– Ишь, склизкая какая, что твоя змея!..

Закусив губы, Рита билась смертным боем, билась за себя и за то, чтобы освободиться, ибо если не она – кто же скажет цесаревне о том, что ее ждут во дворце, где, может быть, судьбы российские решаются!

Она уже понимала, что за тем, что будет – будет и смерть... Но ни смерть, ни муки, ни отвращение не так мучили ее, как сознание, что не одолеть ей варнаков, что еще несколько мгновений – и она снова потеряет сознание, на этот раз уже навсегда. Со жгучей, молниеносной, страстной, ужасной по своему напряжению, немой мольбой она обратилась к Богу и просила, чтобы дал ей Он, Всемогуший, хотя бы и ценой позора и смерти, исполнить свой долг перед цесаревной и Родиной... В этой мольбе исходила ее душа, отделялась от тела, и с исходом ее слабело ее сопротивление одолевавшим ее разбойникам. Она задыхалась в отвратительной вони и снова теряла сознание.

Она закрыла, глаза, потом на миг открыла их и в этот миг увидела свершившееся чудо.

Дверь избы с треском распахнулась, в мутном свете умирающего дня Рита увидела, как в избу вошла закутанная по подбородок в серебристой парчи на собольем меху епанчу, в черной шляпе с белым намокшим пером цесаревна.

Рита хотела ей крикнуть, чтобы она ехала скорее во дворец, протянула руки к этому, быть может, призраку или видению, вызванному ее молитвами, и свалилась без чувств.

III

С утра охота была удачна. В лесу было тихо. Ветер глухо шумел по вершинам сосен, в туманном утре русаки поднимались с лежек неохотно и бежали, припадая к земле и приостанавливаясь... Голоса загонщиков таяли в мутном воздухе, казались далекими и почти не были слышны на номерах.

В таинственной тишине леса звери появлялись неожиданно. Цесаревна была без промаха. Обер-егерь Бем стоял сзади нее, подавая заряженные, богато отделанные, с золотой насечкой и фигурными ложами ружья сестрорецкого завода. Он заряжал их с поразительной быстротой. Два раза цесаревна дуплетом положила зайцев. Уже отправлялись с загонов мужики и несли охотничью добычу к речке Волковке, где началась охота, и там складывали дичь в великокняжеских «ягдвагенах».

Но с полудня посыпал мокрый снег, и все изменилось. Как ни берегла цесаревна курки и полки под полами епанчи, осечки стали все чаще и чаще. Кремень выбивал искру, но порох не загорался, и была только досада от хорошо выцеленного, но не раздавшегося выстрела. Бем успевал подать ей другое ружье, но пока она его принимала, или зверь уходил, или большая хрустальная снежинка упала на полку и мочила затравку.

Но сделали еще два загона, все удаляясь от Волковки. Стало темнеть, и, как это часто бывает в Петербурге в октябре, вместе с дождем и снегом опустилась на землю темная хмаря, и стало трудно видеть в кустах бегущего зверя. На втором загоне большой, матерый волк, нагнув лобастую голову, сторожко бежал прямо на Елизавету Петровну. Та прекрасно выцелила его, нажала собачку, под самым ее глазом синим огоньком вспыхнула искра свежего кремня, «пш-ш», – чуть зашипело у затравки – и... осечка. Цесаревна успела переменить ружье, повела стволом за зверем, уже прорвавшим линию стрелков, и снова спустила курок. Опять то же предательское, издевательское – «пш-ш», выстрел не раздался.

– Но милый Карл Федорович, что же это такое? – с капризной гримасой сказала цесаревна.

– Ничего не поделаешь, Ваше Высочество, – отвечал обер-егерь. – Очень сильная дождя и большая снега. Я берегу, но ничего не поделаю. Очень темно... Я удивляюсь, как Ваше Высочество еще видите зверя.

– Что же, будем кончать, – отдавая ружье Бему, сказала цесаревна.

– Я думаю, Ваше Высочество... но... вы хорошо поохотились. Шестьдесят две зайцы, один дикий коз... Хорошо.

– Но как далеко идти назад... И тут на дожде дожидаться не сладко.

– Ваше Высочество, тут – и полверсты не будет – есть заброшенная сторожка, – по-немецки сказал Бем. – Лет десять тому назад герцог Бирон приказал ее поставить для охоты Ее Величества, но она как-то не пригодилась, и ее бросили. Там никого нет и холодно, но вы будете все-таки под крышей. Я пошлю за яхтвагенами, и вам их туда подадут.

– Так, хорошо. Куда же идти?

– Я скажу егерю, он вас проведет.

– Скажите Лестоку, чтобы шел за мной.

По узкой, едва приметной в снегу тропинке, продираясь через кусты, по болотным кочкам, где душно пахло спиртовым запахом раздавленного можжевельника и мокрый мох пищал под ногами, цесаревна шла за егерем. Тот отводил от нее ветки мокрых осин и покрытых синим стеклярусом снега елей. Когда вышли на опушку, там оказалась грязная, размытая дорога с глубокими, залитыми водой колеями. Егерь пропустил цесаревну вперед.

– Ваше Императорское Высочество, все прямо по дороге. Сейчас и сторожка будет.

Быстро темнело. В лесной тишине было слышно, как шагали за цесаревной егерь и Лесток. Дождь перестал, ветер стих, с деревьев падали капли. Чуть в стороне от дороги показалась сторожка. Большая, солдатская вороная лошадь была привязана подле нее. Цесаревна не обратила на нее внимания, лошадь могла быть от охоты. За дверью избышки были слышны голоса. Это могли быть загонщики, забравшиеся в нее раньше цесаревны. Дверь распахнулась от сильного толчка цесаревниной руки. Смерд ударил ей в свежее от воздуха лицо. В избе со света казалось темно. Цесаревна с трудом различила много людей, толпившихся возле лавки.

– Эй, кто там еще? – грубо крикнули из темноты.

Бывшие у лавки люди расступились, открывая окно.

В мутном свете его цесаревна увидала полуобнаженную девушку, смотрящую на нее испуганными, безумными, восторженными, громадными глазами.

– Что вы тут делаете? – строго спросила цесаревна.

– А тебе что за дело? – выхватывая из-за голенища сапога кривой нож, крикнул чернобородый, длиннорукий разбойник. – Откеля ты взялся?.. Проваливай, пока цел.

– Кому говоришь? – гневно сказала цесаревна. – Ошалел совсем. Ай не видишь, с кем говоришь? Кто я?

– А кто?.. Кто?.. Мало всякого народа по лесу шатается. Какому еще лешему надо нос совать, куда не спрашивают?

– Я – цесаревна...

– Ну-к что ж, – чуть отступая, сказал чернобородый.

Белобрысый, со свинячьими глазами в набрякших красных веках, с белыми ресницами, самый молодой и самый разпаленный бросился к цесаревне с диким криком:

– Знаем мы таких наставников-цесаревен! Ишь ты какая выискалась, чистая лесачиха! Шкура барабанная...

Но продолжать скверную ругань ему не пришлось. Маленькая, поразительной красоты ручка, затянута в кожаную шведскую перчатку с раструбами, с петровской силой ударила его по щеке. Голова его мотнулась в сторону от сильного удара, сухо, по-волчьи лязгнули зубы, и сам он отлетел в сторону. В тот же миг в дверях показались Лесток и егерь с ружьями.

– Ай, товарищи, что ж этта!.. Бяда!.. Пропали наши головушки!

Гурьбой, оттолкнув Лестока, давясь в дверях, разбойники во мгновение ока выскочили из избы и исчезли в сумрачном, притаившемся в тумане лесу.

Цесаревна повернулась к егерю и спокойно сказала:

– Выбей, братец, огня, засвети чего-нибудь, посмотрим, что тут такое было...

Голубым и красным огоньком вспыхнула звездочка кремня, задымился сухой трут, разгорелась щепка лучины, и в ее неровном желтом свете стала видна вся изба и женщина, лежащая на лавке. Цесаревна подошла к ней и взяла ее за руку. Женщина тотчас же очнулась и, кутаясь в черный кадетский плащ, поднялась, зашаталась и снова повалилась на лавку.

– Ваше Высочество, – чуть слышно, словно во сне, прошептала она.

– Кто ты? – строго сказала цесаревна. – Сядь, если не можешь стоять... Говори, как ты сюда попала, что ты тут замышляла с оними людьми?

Цесаревна с отвращением смотрела на растерзанную, избитую женщину.

– Ваше Императорское Высочество... Вы не узнаете меня?.. Я – Рита Ранцева. Я ехала к вам с чрезвычайно важным делом... На меня здесь, в лесу, напали разбойники...

Цесаревна взяла лучину и осветила девушку.

– Подлинно, Рита, – тихо сказала она. – Что же сие все значит, сударыня?

Лучина догорела, цесаревна ее бросила, егерь хотел высекать огня, цесаревна сказала:

– Не высекай огня. Лесток, выйди с ним на крыльцо и смотри, чтобы никто сюда не входил. Когда покажутся яхтвагены, доложи мне. Итак. Что же случилось? – по-французски обратилась она к Рите.

Рита отвечала по-французски же, прерываясь, задыхаясь от волнения и от боли в груди:

– Прежде всего вам надо спешить в город. Императрица очень плоха. Она непременно хочет вас видеть... Ей надо что-то очень важное сообщить вашему высочеству.

Цесаревна горько усмехнулась:

– Странные вещи ты мне рассказываешь, милая Рита. Не единожды я пыталась попасть к Ее Величеству. Меня ни разу к ней не допустили...

– Ваше Высочество... Мне доподлинно известно... Сами Ее Величество мне изволили сказывать, как хочет и как нужно ей вас повидать...

– Не силой же мне, Рита, врываться во дворец и учинять скандал, чтобы потом по городу пошли всякие «эхи»...

– Вот через сие-то я и скакала за вами сегодня, преодолевая все препятствия. Бог помог мне еще живой вас увидеть и сказать вашему высочеству, что сегодня как раз от четырех до шести часов никого из врагов ваших в Зимнем дворце не будет и вы можете беспрепятственно повидать Ее Величество. Сегодня заседание в сенате. Я случайно узнала от Алексея Григорьевича, где вы охотитесь, и решила во что бы то ни стало отыскать вас. Еще не поздно, и вы поспеете.

Цесаревна обняла Риту, прижала ее голову к своей груди и поцеловала ее в темя. Горячая слеза упала из ее прекрасных глаз и покатилась на шею Рите. Та припала сухими, горящими лихорадочным огнем губами к руке цесаревны.

– Бедная ты моя Рита, – тихо сказала цесаревна, лаская девушку. – Скажи мне... Они тебе ничего худого не сделали? Ничто у тебя не повреждено?.. Можешь ли ты с нами ехать?

– Они сильно избили меня, когда боролись со мной, стараясь мной овладеть. У меня ломит в груди, голова болит, висок, но все сие пройдет, ничего не повреждено, ничего не поломано... Главное, я сказала вашему высочеству все, что нужно вам знать.

Светлым огнем в полумраке избы сверкнули глаза Риты. Ласка Великой княжны растрогала Риту, и она расплакалась, как ребенок. Цесаревна встала и пошла из избы, в дверях она столкнулась с Лесток.

– Лесток, который час? – спросила она.

Лесток надавил брегет. Тонким мелодичным звоном часы отзвонили три раза и немного после еще один.

– Четверть четвертого, – сказала цесаревна. – Одевайся, Рита, сейчас приедут яхтвагены и карета, мы с великим поспешением поедем. Лесток позаботится о тебе.

Цесаревна вышла из душевной избы, где, казалось ей, все еще пахнет отвратительной вонью разбойников. На воздухе было сыро и свежо. Туман и мрак окружили цесаревну. Ветер стих, в лесу было таинственное молчание надвигающейся осенней ночи и все слышнее становилось далекое побряхтывание колес, шлепание конских ног и покрики егерей.

Вдруг совсем неожиданно за стеной леса вспыхнули красноватые огни факелов и появились черные силуэты охотничьих линейек.

– Сюда, сюда, заворачивай полегче... Смотри, не перепрокинуть бы?... Ишь, глыбь какая, – раздавались озабоченные голоса. Покойная карета, приспособленная для езды по полевым дорогам, установилась у крыльца. В свете факелов дымились седым паром большие лошади. Форейтор слез с подседельной и поправлял на ней хомут. Пахло дегтем, кожей и конским потом...

IV

Цесаревна отвезла Риту в ее дом, оставила при ней Лестока, чтобы тот все объяснил ее родителям, сделал ей необходимые перевязки, сама же поехала в свой Смольный дом, быстро переделась в скромную черную «савану» и в карете Лестока на паре вороных лошадей поскакала к Зимнему дворцу по тускло освещенным редкими масляными фонарями улицам Петербурга.

В исходе пятого часа она была у дворца. Она подъехала к нему не с парадного крыльца на набережной, но с заднего, с Большой Немецкой улицы. Часовые лейб-гвардии Измайловского полка сейчас же признали цесаревну и взяли ей «на караул». Лакей в обыкновенной, серой ливрее открыл высокую дверь. Цесаревна сняла епанчу и неторопливой решительной походкой пошла по знакомым покоям наверх.

Несмотря на куренье, стоявшее на площадках лестницы – и в стеклянной галерее, и в аудиенц-зале, где горело несколько свечей в настенных кинжетах – был слышен терпкий, душный, неприятный запах лекарств. У дверей красного дерева с бронзовыми украшениями часовые конной гвардии в темных кирасах и белых лосинах стали «смирно». Сверкнули палаши, взятые «на караул». Смелой, уверенной рукой цесаревна взялась за тяжелую, литой бронзы дверную ручку и вошла в аванзалу.

В ней были спущены на окна шторы, на подзеркальном столе были зажжены два канделябра по пяти свечей. У горящего камина, на ломберном столе дежурная статс-дама раскладывала пасьянс. Горничная императрицы Анна Федоровна стояла рядом и подавала советы. На звук шагов цесаревны статс-дама обернулась, взглядела и с несвойственной ее возрасту живостью вскочила со стула и поспешила навстречу. Седые букли качались у ее ушей, колыхались широкие фижмы ее юбки.

– Ваше Высочество, – уже верещала она, – Ваше Высочество, ах, что же сие? Нельзя так!.. Никак нельзя!.. Не можно идти к Ее Величеству. Его Высочество никого не разрешил допускать к Ее Императорскому Величеству.

Цесаревна, не останавливаясь, молча, с ног до головы посмотрела на статс-даму и шла прямо на нее, как будто это было пустое место. Той пришлось уступить дорогу. Анна Федоровна хотела было проскочить вперед, но цесаревна остановила ее порыв.

– Останься здесь, Анна Федоровна, – сказала она. – Ты там без надобности.

Цесаревна открыла двери опочивальни императрицы и скрылась за ними. В опочивальне императрицы Анны Иоанновны было жарко и душно. Запах лекарств и мазей захватил горло цесаревны, и в нем запершило. После аромата леса, болот, талого снега, полей ей особенно невыносимым показался душный запах плохо проветренной комнаты, где лежала тяжелобольная. Комната была освещена тремя парными подсвечниками.

Высокий полог очень широкой постели был откинут. У изголовья на ночном столике стояли пузырьки и склянки с длинными разноцветными аптекарскими ярлыками придворной аптеки. В широком штофном кресле с золочеными ручками у ног императрицы сидела ее вторая горничная Авдотья Андреевна. Она встала навстречу цесаревне. На лице ее были плохо скрытые испуг и негодование.

– Оставь нас, Авдотья Андреевна, – сказала цесаревна.

– Ваше Высочество...

– Я тебе говорю, – прикрикнула цесаревна, – пошла вон!..

– Уйди, Авдотья Андреевна, – расслабленным голосом, приподнимаясь с подушек, сказала императрица.

Цесаревна опустилась на колени подле постели и прижалась губами к пухлой, горячей руке своей двоюродной сестры.

– Как вы себя чувствуете, Ваше Величество? – сказала она, вглядываясь в лицо императрицы.

– Сейчас, Лиза, много лучше... Ночью очень страдала.

Цесаревна с лета не видала императрицы. Перемена в ее лице ее поразила. В белых подушках утопала желтая, опухшая голова с космами еще густых, жирных, черных, пробитых сединою, нерасчесанных волос. Нос обострился и, чуть крючковатый, с глубоко прорезанными ноздрями, выделялся неприятною костяной белизной на мятых опухших щеках. Маленькие глаза Анны Иоанновны стали еще меньше и, мутные, чернели тусклыми изюминками из-под коричневых набрякших тяжелых век с неприметными жидкими ресницами. Под пуховым одеялом тяжелой горой лежало ее располневшее тело, и запах лаванды не мог вытеснить душного смрада, шедшего от него. Цесаревна с печалью и ужасом смотрела на умирающую. Она забыла, что это была императрица всероссийская – перед нею была несчастная, страдающая, старая женщина, близкая ей по крови, и ей было бесконечно жаль ее.

Императрица смотрела на цесаревну с завистью. Молодое, пышущее здоровьем, разрумянившееся от морозного воздуха лицо ее горело, полное, стройное, гибкое и сильное тело, казалось, излучало лесную свежесть. Воздухом и жизненной силой пахло от цесаревны, и в ней все говорило о силе жизни. Императрица тяжело вздохнула и стала говорить, все более разгораясь и волнуясь.

– Ужасно быть императрицей, Лиза... Ужасно... Вот заболела я... Не простой человек заболел, императрица... Простому человеку легче... Собрались врачи... Мой Антошка Санхец ничего серьезного не усматривает. Просто то, через что всем женщинам в свое время надлежит пройти... У Листениуса смотрели мой «урин» и сказали Авдотье Андреевне, которая к ним его носила, чтобы я не изволила иметь никакого опасения, и дали мне красный порошок доктора Шталя. И мне полегало... А кругом все о смерти... все о смерти... Легко сие, Лиза, когда кругом тебя ходят и все говорят: «Ваше Величество, вы умрете, вы умрете... вам надо отдать распоряжения, подписать бумаги...» И без них-то тошнехонько и так не хочется умирать. Не хочу я умирать, Лиза... Я еще не так-то стара... Дядюшка Петр старше моего был и не умер бы, если бы не простуда... Родился у Анны мальчишка, и так я к нему привязалась... Сама я хотела иметь детей. Я крестила его. Сама дала ему имя – моего отца имя. Я потребовала, чтобы он был подле... Анне Леопольдовне все равно... Тут подле меня новая жизнь, и так-то мне все сие радостно, а они все о смерти. Слушай меня, Лиза... Как я счастлива, что ты со мною... Если уже и правда так близка ко мне смерть, то мне надо все тебе сказать... Да нет!.. Не верю я, слышишь, не верю!.. Не умру я!.. Когда ты подле, от тебя жизнь идет ко мне... Ты не такая, как Анна. Анна Леопольдовна ненавидит своего мужа... Его ли еще ребенок-то?.. Ну да все равно... Я тебе тогда ничего не говорила... Когда я спросила ее, желает ли она выйти замуж за герцога Антона Ульриха, она мне ответила, что охотнее положит голову на плаху, чем пойдет за него.

– Но пошла же, – сказала цесаревна, пожимая плечами.

– Пошла, – со злобой прошептала Анна Иоанновна. – Пойдешь! Ей предложили выйти замуж за старшего сына Бирона – Петра, а она всех Биронов ненавидит еще пуще... Волынский пришел к ней, а она ему так и отмочила: «Вы, – говорит, – министры проклятые, на сие привели, что ныне за него иду, за кого прежде и не думала, а все для своих интересов привели...» Какова! Волынский спросил: «Чем Ее Высочество недовольны?», а Анна ему: «Тем, что принц весьма тих и в поступках не смел...» Хороша девушка!.. В наше время смели бы мы так рассуждать!.. Волынский ей и ответил, тоже хорош гусь, чему ее учил: «Хоть в его светлости и есть какие недостатки, то, напротив того, в ее высочестве есть довольные благодарования, и для того может Ее Высочество те недостатки снабдевать или награждать своим благоразумием...» Чувствуешь, Лиза, на кого покушаются!.. Манифестом пятого октября назначила я Ивана наследником престола – так ведь ему, наследнику-то моему, всего два месяца!.. И, ах, как мне хочется, как нужно мне жить!.. Да вот... Смерть!.. Смерть!! Страшно-то все как... Лиза!.. Береги мне его!.. В нем наша кровь... романовская... Те... Там все немцы... Я понимаю... Ты не суди меня строго... Ну, увлеклась... Сама понимаю, так России-то губить я не хочу... Береги... А то, сама знаешь, там еще «чертушка» растет Гольштейнский... Вот еще не было печали!.. Не наделали бы через то беды? Лиза, неужели я умру?.. И Иванушка... маленький он... Что он-то может?.. Умру!..

Анна Иоанновна заплакала. Цесаревна прижалась губами к ее горячей руке, потом приподнялась и поцеловала ее в лоб.

– Бог не без милости, Ваше Величество, – сказала она. – Поправитесь.

– А ежели да нет?.. Лиза!.. Лиза!.. Ты не думай, я понимаю... Я знаю... Тебе!.. Тебе надо царствовать! На сие ты рождена... Ты дочь Петра Великого!.. Тебя любит народ!.. И Петра память в народе как еще сильна... Как дорог он всем!.. Да что я-то могу сделать?..

– Ваше Величество, вы – императрица! – вставая с колен, с силой сказала цесаревна.

Анна Иоанновна смотрела на нее со страхом. В ее глазах снова показались слезы.

– Что я могу, Лиза? – жалобно сказала она. – Ты знаешь, Лиза. Ты же все знаешь сама...

– Скажите, Ваше Величество... по городу такие «эхи» ходят... Подписали вы какую-то бумагу по предложению герцога Курляндского?

Маленькие глаза императрицы растерянно бегали по сторонам. Вид ее был очень жалкий. Она прислушивалась к тому, что делалось за дверью. Там раздались поспешные твердые шаги, тяжелая дверь с шумом распахнулась, и в спальню быстро вошел герцог Бирон. Он даже не старался скрыть своего гнева и раздражения на цесаревну. Он остановился в раскрытой двери, за которою был виден его канцлер граф Остерман, статс-дама и обе горничные императрицы, протянул руку в сторону цесаревны и, аффектированно кланяясь ей низким придворным поклоном, сказал:

– Ваше Императорское Высочество, Ее Императорскому Величеству врачами предписан абсолютный покой. Я принужден просить Ваше Высочество оставить покои Ее Императорского Величества.

Цесаревна посмотрела на императрицу. Та лежала жалкая и испуганная и по-детски косила глазами на Бирона. В ее темных, тусклых, маленьких глазах был животный страх. Цесаревна нагнулась к руке императрицы, поцеловала ее и с высоко поднятой головой, не глядя на Бирона, вышла из царской опочивальни. Выходя, она слышала, как в соседней комнате жалобно, надрывно, булькая и захлебываясь, плакал ребенок: наследник престола – Иоанн Антонович.

V

Поздно вечером 17 октября цесаревна была вызвана Бироном в Зимний дворец – императрица Анна Иоанновна кончалась. В полутемной спальне на постели в страшных муках металась та, кого несколько дней тому назад цесаревна видела в полной памяти. Императрица невероятно страдала. Она то так кричала, что ее крики были слышны в стеклянной галерее и аудиенц-зале, то на мгновение затихала, тяжело дыша и бормоча несвязные, непонятные слова. У подножия ее постели стали цесаревна и Анна Леопольдовна. Обе горько плакали. В углу комнаты, нахмутив темные брови красивого лица, в черном, шитом золотом кафтане, скрестив на груди руки, как изваяние, неподвижный стоял герцог Курляндский Бирон. В соседней комнате поместились врачи, герцог Брауншвейгский Антон Ульрих, муж Анны Леопольдовны, духовник императрицы, граф Остерман, ближние статс-дамы и несколько сенаторов. В большой аудиенц-зале были собраны все председатели коллегий и начальники частей, в Петербурге расположенных. Время было смутное, и Бирон распорядился, чтобы все военное начальство было в этот решительный момент под рукой, а по городу ездили парные драгунские патрули. В толпе военных выделялся своим ростом и строевой твердой осанкой старый Ранцев.

В большой люстре догорали восковые свечи. В зале кто стоял, кому удалось достать кресло, тихонько подремывал в нем, кто тихо, стараясь не стучать каблуками, ходил по зале. Почти все молчали, прислушиваясь к крикам и стонам, доносившимся из внутренних дворцовых покоев.

Кто-нибудь негромко скажет:

– Как она, бедная, страдает.

И сосед вздохнет тяжело и ответит:

– Господи, хотя бы конец. Отпустил бы Господь ее душеньку.

И опять тишина. Вдруг смолкнут крики и стоны в опочивальне и станет слышно, как гудит над Невой ветер и холодные волны плещут в бревна набережной. Невыносимую жутью веет по залам дворца. Косой дождь ударит в стекла, точно то смерть постучится костлявыми пальцами.

Бесконечной кажется холодная петербургская ночь.

– Ваши высочества!..

Цесаревна поднимает голову. Над нею стоит Бирон. Его лицо сурово.

– Ваши высочества, вам незачем дольше утруждать себя. Извольте ехать почивать к себе. Если будет какая перемена, я пошлю за вами курьера.

Цесаревна встает с колен. Она чувствует себя разбитой. Нет больше сил выносить эти крики, видеть страдания и не быть в состоянии помочь.

Она выходит в аванзалу, подходит к медику Фишеру и спрашивает его по-французски:

– Как вы думаете, доктор, долго еще она будет так страдать?

– Ничего неизвестно, Ваше Высочество... Наука уже бессильна ей помочь. Я думаю, она проживет в таком состоянии еще день или два. Потом – кома...

– Как все это ужасно...

Фишер пожимает плечами и разводит руками.

Цесаревна спускается по лестнице, лакей подает ей шубу и бежит вызвать карету. Ледяной дождь бьет цесаревне в лицо на крыльце, ветер распахивает полы шубы. И дождь, и ветер, и холодный плеск невиской волны ей приятны. Все кажется еще цесаревне, что она слышит эти ужасные крики и дышит тяжелым спертым воздухом мрачной темной опочивальни.

Цесаревна опускает окно кареты и жадно вдыхает холодный, сырой, пахнувший морем воздух.

В ту же ночь императрица Анна Иоанновна скончалась.

Было бледное петербургское осеннее, ненастное утро, в дворцовых люстрах продолжали гореть желтым, несветящим светом свечи, когда из комнаты усопшей вышел герцог Бирон. По той тишине, которая вот уже некоторое время стояла в опочивальне, все ночевавшие в зале в ожидании конца догадывались, что конец уже наступил.

– Ваше Высочество, – сухо и торжественно, деревянным голосом обратился Бирон к сидевшей в кресле у камина Анне Леопольдовне, – ваше сиятельство, господа сенаторы, – повернулся он к остальным, – Ее Величество преставилась. Господу Богу угодно было отозвать ее душу к себе. Я прошу вас и четырех представителей воинских частей последовать за мною во внутренние апартаменты и опечатать комнаты Ее Императорского Величества.

Названные лица, и в их числе полковник Ранцев, пошли за Бироном. В спальне императрицы уже был сделан порядок. Комната была проветрена, и в ней сильно накурено ладаном. На постели с отдернутыми занавесями, поверх чистой простыни, одетая в белое платье, со сложенными на груди руками лежала мертвая Анна Иоанновна. Белое лицо ее выражало безмятежный покой. Высокие церковные свечи горели у изголовья, и священник в черной епитрахили размеренно читал Евангелие.

Авдотья Андреевна шла впереди и показывала внутренние покои. Здесь была гардеробная Ее Императорского Величества, – ележным, сладким голосом говорила она. – Ничего тут нет, кроме ейных платьев, а внизу в ящиках и ларях белье Ее Величества...

На гардеробную наложили печати. Пошли дальше.

– Здесь, как вы сами изволите знать, их кабинет был. Как заболела Ее Императорское Величество, как заболела, значит, приходили к ней их сиятельство граф Остерман, и через недолгое такое время вызвала меня Их Величество и приказала мне принять от них бумагу и положить вот в сем шкатуле, а ключи отнести к Ее Величеству и положить им под подушку. И сейчас они там.

Послали за ключами, открыли шкатулку, указанную Авдотьей Андреевной, граф Остерман достал бумагу. Герцог Бирон и сенаторы склонились над нею.

– Подпись руки в Бозе почившей государыни императрицы, – торжественно заявил герцог Бирон, – подлинная и сомнений не вызывает. Ваше сиятельство, прошу вас прочитать собравшимся персонам волю государыни.

Граф Остерман принял бумагу, развернул ее, осмотрел всех, и в наступившей напряженной тишине, куда доносились через два покоя мерные слова чтения священника над усопшей, начал торжественно читать:

– «Божиею милостью мы, Анна, императрица и самодержица всероссийская и прочая, и прочая, и прочая...»

Все присутствующие сотворили крестное знамение.

– «...Объявляем всем нашим верным подданным, понеже мы по матерней нашей к государству и к верным подданным нашим любви имея попечение о предбудущем оных твердом благополучии и безопасности за благо и потребно рассудили о наследии императорского нашего престола благовременное определение учинить и по дарованной нам от Всевышнего Бога самодержавной императорской власти любезнейшего внука нашего, благоверного государя Великого князя Иоанна наследником нашим через опубликованный о том от пятого числа сего месяца всемилостивейший наш указ объявить. А притом не меньше же и о том стараться имеем, чтобы намерение наше о неотменном после нас содержании и сохранении счастливо установленной в империи нашей формы правительства по желанию нашему исполнено было. А по воле Божеской случиться может, что помянутый внук наш в сие ему определенное наследство вступить имеет в невозрастных летах...»

– Как и случилось, – с тяжелым вздохом сказал негромко Ранцев.

Остерман строго посмотрел на него из-за бумаги и продолжал читать:

– «...В невозрастных летах... Когда он сам правительство вести в состоянии не будет...»

Ранцев, стоявший сзади всех в числе представителей Петербургского гарнизона, хотя и был чуть не на голову выше всех, даже на носки приподнимался, стараясь не проронить ни одного слова, точно он не только слышать хотел, но желал и видеть все эти столь важные для государства слова. Он, как и многие в числе военных, как и старый фельдмаршал Миних, все ожидал, что будут сказаны священные для него слова о назначении на время малолетства императора Ивана III правительницей той, кому по праву, по желанию народному, по всеобщей любви к ней солдат это право принадлежит – цесаревне Елизавете Петровне.

Граф Остерман монотонно читал длинное посмертное письмо императрицы. Ранцев слушал о том, что «в таком случае и во время малолетства правительство и государствование именем его управляемо было через достаточного к такому важному правлению регента».

Дальше читал Остерман о том, что регент должен заботиться о воспитании государя, вести управление по «регламентам и уставам и прочим определениям и учреждениям от дяди нашего блаженные и вечно достойные памяти государя императора Петра Великого учиненным».

Ранцев прослушал, что тот регент назначается «до возраста внука нашего, Великого князя Иоанна, семнадцати лет»... Не скрывая нетерпения своего, ожидал Ранцев, когда же наименован будет этот регент, кому на семнадцать лет будут переданы бразды правления обширнейшей империи.

Наконец услышал:

– «...По данной нам от всещедрого Бога самодержавной императорской власти определяем и утверждаем сим нашим всемилостивейшим повелением регентом государя Эрнста Иоанна, владеющего светлейшего герцога Курляндского, Лифляндского и Семигальского, которому во время бытия его регентом даем полную мочь и власть управлять на вышеозначенном основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные...»

«Так вот он тот, – думал, уже плохо слушая и не вникая в чтение, Ранцев, – кому дано право вести Петрову Россию к благоденствию и миру или разорению и войне... Эрнст Иоанн Бирон... Безродный польско-курляндский шляхтич... Да Бирон ли он?.. Не Биренли, как о том носят «эхи»?.. Сын корнета польской службы, владелец мызы Димзе – только и всего... Что ему Россия и что он России? Ну да, фаворит герцогини Курляндской, а потом императрицы, но все-таки?.. Бирон? Бирон – правитель?.. Не звучит это как-то... Солдатам будет трудно объяснить, что теперь от Бирона будет зависеть война и мир... Да вот оно как обернулось... Фортуна?»

Ранцев смотрел на герцога Бирона, и ему казалось, что выше стал ростом Бирон, что еще больше было надменности, важности, самодовольства и гордости в его лице. Ранцев думал о странной судьбе российской... Почему?.. Из-за несовершенства, что ли, закона Петра Великого?.. Но как могло быть что-нибудь несовершенное у совершеннейшего? Но как же все-таки могло выйти, что императором в России будет двухмесячный младенец и его именем в течение семнадцати лет – семнадцати лет! – за это время они с Петром Великим всю Россию перетрясли и устроили по-новому – будет распоряжаться вот этот Бирон! Что ему дело Петрово, что ему его заветы, что ему бешеный скак России вперед? Он только и сделал, что манеж построил в золоте и зеркалах – храму подобный...

Чтение продолжалось:

– «...А ежели, – читал граф Остерман, повышая голос, – Божеским соизволением оный, любезный наш внук благоверный Великий князь Иоанн прежде возраста своего и не оставя по себе законнорожденных наследников преставится, то в таком случае определяем и назначаем в наследники первого по нем принца, брата его от нашей любезнейшей племянницы, ее высочества благоверной государыни принцессы Анны и от светлейшего принца Антона Ульриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского рождаемого...»

«Да вот оно куда пошло, – все думал Ранцев. – Во все время несовершеннолетия и этих принцев, которых еще и в походе-то нет, править будет все тот же государь Эрнст Иоанн!.. А если и те, будущие и еще не зачатые, наследники преставятся, то кто же укажет государя России?..»

– «...Тогда должен он, регент, – читал дальше Остерман, – для предостережения постоянного благополучия Российской империи, заблаговременно с кабинет-министрами и сенатом и генерал-фельдмаршалами и прочим генералитетом о установлении наследства крайнейшее попечение иметь и по общему с ними согласию в Российскую империю сукцессора избрать и утвердить...»

«Значит, вместо Богом помазанного царя – сукцессор, избираемый тем же регентом... А где же наша петровская солдатская дочь?.. Почему о ней нигде нет ни слова?.. Ах, вот оно... Тут все говорится о законнорожденных наследниках... А она... Избранный Бироном сукцессор станет выше ее – дочери Петра Великого!.. Господи, да что же это такое?»

Когда Остерман окончил чтение и в недоумевающей толпе пошел гул сдержанных голосов, Ранцев отыскал знакомого сенатора и спросил его:

– Кто оное-то письмо составлял и писал?

– Бестужев-Рюмин.

– Бесстыжев он, а не Бестужев!.. Точно ли подпись под ним нашей матушки царицы?

– Скажете тоже, Сергей Петрович, сами, чай, знаете, что за такие слова бывает... Остерман и сам герцог Бирон ту подпись подтвердили, ну и довольно с вас.

– Еще бы не подтвердить, – проворчал Ранцев.

На них шикнули. Негромкий и неуверенный голос – покойница лежала почти рядом, через две комнаты, – провозгласил:

– Да здравствует Его Высочество, регент Российской империи, герцог Курляндский, Лифляндский и Семигальский! Виват!

– Виват!.. Виват! – крикнуло несколько голосов.

Герцог надменным кивком головы ответил на приветствие и удалился во внутренние дворцовые покои. Собравшиеся начали расходиться.

В прихожей один из знакомых генералов толкнул Ранцева под локоть и негромко сказал:

– Слыхал?.. Его Высочество!.. Когда он стал Его Высочеством?.. Всегда был – светлостью.

– За сим дело не станет, – мрачно сказал Ранцев, – император указ даст, а сенат объявит во всенародное известие.

– Императору-то всего два месяца, – вздохнул генерал.

– Тем легче ему будет сие сделать, – сказал Ранцев и пошел за генералом к своей полковой колымаге.

VI

В тот же день цесаревна во всех подробностях знала о письме-завещании Анны Иоанновны. Она только спросила, когда это письмо было подписано, но никто этого точно не знал. К вечеру письмо было уже «печатано при сенате».

Удивилась она такому завещанию, оскорбилась, возмутилась? Никто того не знал. В полном придворном трауре, в черной «робе» с плерезами, отделанной белой тафтой, чрезвычайно шедшей к ее стройной моложавой фигуре, очаровательная в свои тридцать лет, она, молчаливо и усердно молясь, отбывала панихиды и заупокойные службы. Тело императрицы перевезли в Летний Биронов дворец и выставили для поклонения народу. Цесаревна, устав от долгих служб, отбыла с Алексеем Григорьевичем Разумовским в свое имение на мызу Гостилицы. Там в полной тишине, в лесной глуши она хотела забыться в любовных утехах со своим «другом неизменным» от охватившей ее тогда, самой ей непонятной тоски. В ее распоряжении

была императорская петергофская охота. Герцогиня Анна Леопольдовна не охотилась, герцогам Антону Ульриху и Бирону в эти горячие дни было не до охоты. Борзые, гончие, меделянские, датские, легавые, таксели, бассеты, биклеса, хорты – более полутора ста собак Петергофской охотничьей слободы были в полном распоряжении цесаревны. Обер-егерь Бем устраивал для нее «парфорс-яхты», делал охоты между полотен, она ходила с ружьем на тетеревов, глухарей и куропаток. В лесу, у Мартышкина кабака, ей устраивали полевой «фрыштык» и обед. Сюда высылали охотничьи линейки, и после хорошего обеда она и приглашенные охотники, уже в ночи, часто под осенним холодным дождем, лесной дорогой, по размытым пескам и глине ехали в Гостилицы. Тихо тархатели колеса, повозки поднимались к имению. В темноте тускло светились огни в окнах уютного дома. Там ожидали цесаревну ее музыка и одна-две французские певицы. Она сидела вдвоем за столом с Разумовским и слушала, как на двенадцатиструнной бандуре играл Алексей Григорьевич. В эти вечерние интимные часы он был без парика. Черные волосы лезли на лоб, глаза сосредоточенно смотрели куда-то вдаль, Разумовский сидел на низком табурете и длинными пальцами правой руки перебирал струны. На втором его пальце был надет наперсток с кисточкой, он захватывал им сильные струны, и они пели тогда, вторя его ослабшему пропитому голосу.

За окнами стояла черная октябрьская глухая ночь. Кругом залегли холмы, леса, и точно стеной каменной были отгорожены двое влюбленных от всего света.

– Алеша, – тихо скажет цесаревна, – а Алеша, скажи, родной... Почему Господь не дает нам с тобой деток?..

Алеша не отвечает. Сильнее загудят в его руках струны, пройдет перебор, и сладко и нежно о чем-то без слов запоем в искусных руках бандура.

– Алеша?.. А Алеша?.. Сие от того, что ты пьешь много.

Бандура продолжает в ночной тиши свою песню. Сосредоточенно смотрит вдаль Алексей Григорьевич. Наконец тихо, сквозь говор струн отвечает:

– Наш род, Лиза, дюжа плодovitой... А пил мой батько гораздо поболее моего.

В темной ночи все поет и поет бандура о чем-то неизвестном и милом, и слушает ее песни, развываясь на диване в мужском охотничьем платье, цесаревна. Бандуру ли она слушает? Не слушает ли она, что тихо говорит ей ее смятенное, растревоженное воспоминаниями сердце. Загорелись синие глаза, потемнели, желтыми искорками отразили огни канделябров и потухли. В голове неясная мысль: «Может быть, это я своим беспутством прошлым виновата... Господи, прости меня, грешную... На проезжей дороге, – народ сказывает, – и трава не растет...»

– Так ведь были бы те дети, Лиза, – обрывая игру, говорит Разумовский, – незаконные.

– Что ж с того? Нам-то не все одно? То наши были бы дети!..

Разумовский играет долго, полчаса, час и вдруг, точно продумав за время игры нечто сложное и серьезное, говорит, поднимая голову и в упор глядя в глаза цесаревны:

– А тебе, Лиза, не досадно все сие?

Цесаревна настораживается и отводит глаза в сторону.

– О чем ты, Алеша?

– О несправедливости... О жестокой судьбе твоей!.. О несправедливом решении Ее Величества!

– Справедливость, Алеша, только у Господа Бога. Людям не дано быти справедливыми, – совсем тихо говорит цесаревна.

– Так ведь, Лиза, через то самое государство Российское в низость приходит. Народ русский страдает от немцев.

Цесаревна встает с дивана. Она ходит взад и вперед по комнате, она сильно взволнована. Постоит у глухой стены и идет снова к окну.

Отодвигает деревянный ставень. За окном черная, непроглядная ночь, и такая в ней тишина, что жутко становится. Там, за окном, в бесконечных полях, холмах, долинах и лесах, притаился народ русский.

– Я что же, – вдруг громко и решительно говорит цесаревна, – я готова... Если народ?.. Если Россия меня позовет?!

Она идет быстрыми шагами в опочивальню. И пока девушки раздевают ее и убирают ей на ночь волосы, в ее голове немолчно и непрестанно звенит, звучит, поет, заливается присвистом, бубном рекошет давно слышанная песня солдатская:

– Солдатушки, бравы ребятушки,
Кто вам краше света?
– Краше света нам Елизавета,
Во-от кто краше света!!

VII

Народ... Тогда это не было нечто самодовлеющее, грозное, громадное, миллионноголосое и всеобъемлющее.

Народ – крестьяне, рабочие, духовенство, купцы, ремесленники, чиновники, бояре-вельможи, именитое дворянство.

Крестьяне были рабами, крепостными слугами своих господ, из их воли не выходящими. В рабской своей доле они ничего, кроме работы, не знали. В глухих деревнях, ничем не связанных с городами и со столицами, что могли они знать о том, что делается на белом свете? Они вели полускотовую жизнь. В маленьких бревенчатых избах, крытых тесом, а где и соломой, – на севере, в глинобитных мазанках, крытых соломой, – на юге, курных и тесных, они задыхались в вони и грязи, жили вместе с курами, телятами и поросятами, разьедаемые насекомыми, жили по пословице: «День да ночь – сутки прочь...» В детском возрасте хворали и умирали десятками, да зато десятками с лишним и рождались – непрерывно увеличивалось и росло население государства Российского. Те, кто выживал совершенно неожиданно и непонятно как, вопреки всем требованиям гигиены, вдруг становились крепкими и сильными и проживали долгий век, жили до восьмидесяти, до ста лет. Над ними стояли старосты, бурмистры и сами господа. Сколько было крестьян? Как звали крестьян? Мало кто этим интересовался. Многие и фамилий не имели – писались «господ таких-то», имели только клички и прозвища. С российской государственной жизнью их связывала церковь. В ней за ектениями и при выносе Святых Даров поминали государей, в ней с амвона вычитывали торжественным, тугим и непонятным языком написанные манифесты, и по ним – и далеко не все – знали в деревнях, кто ныне царствует в земле Российской. Крестьянам это было все равно. Они хорошо усвоили, что «до Бога высоко, до царя далеко»... Еще на юге, в необъятных степях, где своей обособленной вольной жизнью жили малороссийские и донские казаки, куда приходили беглые из России и несли протест против порядка государственного, говорили и судили о власти. Там всегда было напряженно от слухов, и свои имена там были дороги и памяты. Имена тех, кто алым пламенем пожара покрывал землю ради «земли и воли». Там особо помнили Стеньку Разина и Кондрашку Булавина, помнили, как лютыми казнями казнил разбойников Алексей Михайлович и как бежал и застрелился донской атаман Булавин при Петре Алексеевиче. Крестьяне, хотя их и было большинство в государстве Российском и насчитывалось до двадцати миллионов, не были тем народом, с которым надо было считаться и который мог управлять судьбами российскими. Они были способны только в редких случаях подняться, чтобы «потрясти Москву» и пожарами и грабежами опустошить и без того небогатую, обнищавшую деревенскую Русь.

Рабочих почти не было. Русская добывающая и обрабатывающая промышленность находилась в зачаточном состоянии. Фабрики и заводы были маленькие, рабочие к ним были прикреплены, прижились при них и о бунтах и протестах не думали. Они не могли представлять собой общественного мнения. Сплошь неграмотные, они не могли играть никакой роли в государственных делах.

Служилое сословие, чиновники, духовенство, купцы, ремесленники, городское население были в зачаточном состоянии, разбросаны и представляли собой городскую толпу, готовую кричать «виват» тому, кому крикнут другие.

Духовенство было придавлено синодом и если и вело какую работу, то вело ее очень осторожно, стараясь влиять на тех людей, которые что-нибудь значили в государстве.

Дворянство – бояре после Петра Великого переживали тяжелое время. Дворянство было разгромлено. В него вошло многое множество служилого дворянства, пожалованного в дворяне за чины и отличия и не имеющего дворянских традиций. Оно было придавлено немцами и другими иностранцами. Дворянам было не до того, чтобы изображать собой общественное мнение, чтобы протестовать и бороться.

И тем не менее цесаревна ощущала, что воля народа, как ни задавлен народ, существует и может каждую минуту вывестись. Кто же был тем народом, к чьему мнению считала себя обязанной прислушиваться и чьего зова ждать цесаревна?

С учреждением императором Петром Великим российской регулярной армии в России появилось новое сословие – солдаты.

Взятые молодыми парнями-«новиками» по набору от сохи, они до глубокой старости оставались под знаменами. Они пешком, с ранцем за плечами, с ружьем на плече исходили всю Россию. Они бывали за границей. Были среди них такие, кто дрался под Выборгом и Фридрихсгамом со шведом, а потом прошел до Дербента в персидский поход. Они видели хмурое северное море у шведских берегов, а после стояли «у самого синего» моря – Каспийского. На биваках, на винтер-квартирах они повидали много разного народа, видели богатство и сытость, повидали нищету и голь перекатную. В Швеции, Ганновере, Саксонии и Польше они имели случай сравнить тамошние порядки со своими. Они были неграмотны, но по-своему они были весьма образованны, ибо были они бывалыми людьми. Они строили крепости и рыли каналы, они устраивали города там, где ничего не было. Они были сила.

Над ними, на верхах армии стояли немцы. Их полковые командиры часто не говорили по-русски. Кроме старика фельдмаршала Трубецкого, в армии на высших должностях русских не было. Фельдмаршалами были Миних и Ласси, вице-президентом военной коллегии принц Гамбургский, принц Антон Ульрих Беверен, герцог Крои, генералы Кейт, Стофельн, Дуглас, сыновья герцога Бирона, Бисмарк, Геннинг, Гордон, вице-адмиралы Бредаль и Обриен и другие иностранцы вершили дела армии и флота. Во главе старейшего Бутырского полка стоял фон Зитман, не говоривший по-русски и даже на официальных бумагах подписывавшийся по-немецки. Но тем сильнее в полках, и особенно в полках гвардейских или расположенных в столице и ее окрестностях, спланивалось по своим плутонгам и ротам петровское солдатство. При императрице Анне Иоанновне был основан 1-й кадетский корпус, и из него стали поступать в ряды армии образованные молодые люди, прекрасно понимавшие, что происходит в государстве и при дворе. Дворяне из мелкопоместных, петербургские чиновники записывали в полки своих сыновей с двенадцатилетнего возраста. Эти мальчишки с большим рвением проходили солдатскую науку и медленно продвигались по ступеням военной иерархии, готовя смену немцам.

Внутри армии появились люди, преданные военному делу, авторитетные своим солдатам, горячо любящие Россию, желающие продолжать Петрово дело и могущие понимать обстановку и рассуждать о ней. Урядники всяких званий: капралы, ротные и шквандронные писаря, фурьеры, подпрапорщики, сержанты, младшие офицеры: прапорщики, поручики и капитаны

– были давно настороженно недовольны немецким засильем. В них накопилось русское чувство, озлобленное унижением всего русского.

Они были хорошо материально обставлены. Их мунд-порцион состоял из двух фунтов хлеба, одного фунта мяса, двух чарок вина и одного гарнца пива в день, да на месяц они получали два фунта сала и полтора фунта круп. Сытые и хорошо одетые, они имели много свободного времени – на строительных работах, где они были надсмотрщиками, в караулах, на походах и дневках, когда они могли сходить вместе и говорить о чем угодно.

Для них всякая перемена правления была богата последствиями: она несла с собой мир или войну. Шкурным вопросом был для них: какое и из каких людей будет состоять правительство.

Они выросли в семьях, где было преклонение перед Петром Великим. Их отцы были овеяны славою петровских побед и завоеваний. Отцы их заложили Петербург – они его отстраивали. Все, что касалось дел Петра Великого, было им дорого и свято.

Общественное мнение России тогда составляли солдаты. Они носили в себе народную душу и были выразителями народных желаний.

Когда цесаревна Елизавета Петровна думала и говорила о том, что скажет народ, в ее представлении были не крестьяне ее слобод и деревень, не уличная толпа Петербурга и Москвы, не чиновники, мещане и ремесленники и не дворяне, помещики и придворные, – но именно солдаты, руководимые русскою военной молодежью, те солдаты, которые пели, проходя мимо ее дворца:

– Краше света – нам Елизавета,
Во-от кто краше света!!

Она прислушивалась к тому, что говорилось в казармах, и она ждала, когда песня о ней претворится в действие. Она не знала, как и когда это будет, но всею своею русской душой чувствовала, что когда-то это так и будет. Русская, дочь Петра Великого, она, как никто другой, понимала, какое страшное оскорбление нанесено всему русскому народу этим странным письмом-завещанием императрицы Анны Иоанновны, где нигде не было упомянуто даже самое имя цесаревны. Точно и не было у Анны Иоанновны столь близкого человека, каким была она, дочь брата ее отца... Точно и не говорила за несколько дней до своей смерти сама императрица о том, что она считает ее, Елизавету Петровну, законной по себе наследницей...

VIII

Прошло всего три дня после смерти императрицы Анны Иоанновны и обнаружения ее посмертного указа – полковая молодежь заволновалась. Преображенский полк находился на работах по постройке казарм. Рота Ранцева только что пошабашила и собиралась к полковой подводе, на которой привезли от полка обед. Солдаты, снявшие кафтаны, в камзолах, перепачканных кирпичной пылью и известкой, строились под дощатым навесом, где уже собрались капралы. Во двор въехал верхом на лошади поручик Ханыков. Он соскочил с коня, бросил поводья подбежавшему гренадеру и подсел к унтер-офицерам своей роты, обедавшим отдельно от солдат.

– Хлеб да соль, – сказал он.

– Милости просим, ваше благородие. Не откушаете ли с нами солдатских щец?

– Спасибо.

Он взял предложенную ему деревянную ложку и осмотрел сидевших около котла. Против него был сержант Алфимов, смышленный ловкий унтер-офицер, с которым Ханыков всегда был откровенным. Дальше сидел поручик Михайла Аргамаков, человек надежный, за ним сидела

молодежь – безусые капралы, привыкшие прислушиваться к тому, что скажет их офицер. Все были свои, верные люди.

– Что в грустях, Петр Степанович? – спросил Ханыкова Аргамаков.

– Не могу, братец, успокоиться, не могу, Михайла, переварить в себе, для чего-де министры сделали, что управление Всероссийской империи мимо Его Императорского Величества родителей поручили его высочеству герцогу Курляндскому.

– А тебе-то что с того? – сказал Алфимов.

– Как что? – возмутился Ханыков. – Ты думаешь о том, что в бесчувственном равнодушии своем говоришь? Как же мы сие сделаем, что государева отца и мать оставили и отдали государство такому человеку!.. Регенту, прости Господи! Они, родители-то, чаю, на нас плачутся. Как по-твоему, кому до возраста государева управлять государством, как не отцу его и матери? А то!.. Регент!.. Шут гороховый!..

– Да, сие бы правдивее было, – тихо сказал Алфимов.

– И все вы с оглядкой, – горячо продолжал Ханыков. – Все вы правды боитесь. Правдивее!.. Какие вы унтер-офицеры, что солдатам о том не говорите?.. У нас в полку, кроме Петра Сергеевича, надежных офицеров нет – не с кем советовать. И надеяться не на кого... Вам, унтер-офицерам, надо солдатам о том толковать... Я уже здесь и в других местах солдатам говорил о том, и солдаты все на то порываются и говорят, что напрасно мимо государева отца и матери регенту государство отдали... Нас, офицеров и унтер-офицеров, бранят, для чего мы не зачинаем... Им, солдатам, зачать того не можно. Как был для присяги строй, напрасно мы тогда о том не толковали!

– Так что же ты-то не толковал? – сказал Аргамаков.

– Я?.. Да я бы только своим гренадерам о том слово одно сказал – и они бы то дело сделали: все бы за мной пошли... Они меня любят... А там, гляди, и офицеры б, побоявшись того, все б стали солдатскую сторону держать.

– Чужая душа потемки, – уклончиво сказал Алфимов.

– Ну, так что же ты тогда не сказал? – спросил Аргамаков.

– Я скрепя сердце гренадерам о том не говорил для того, что я намерения государыни принцессы не знаю, угодно ли ей то будет.

– Дело-то какое... Табак-дело, – сказал Аргамаков.

Ханыков вспыхнул:

– Боишься?.. А ныне!.. До чего мы дожили и какая нам жизнь!.. Лучше сам заколол бы себя, чем такой срам допускать в государстве!

– Ты б лучше молчал.

– Хотя бы жилы из меня стали тянуть, я говорить о том не перестану.

Аргамаков задумался.

– Слушай, – сказал он после нескольких мгновений, когда было слышно только, как черпали ложки в котле, выскребывая кашу, да жевали молодые крепкие зубы. – Есть у нас вахмистр конной гвардии Лукьян Камынин.

– Ну, знаю, – сказал Ханыков, настораживаясь.

– Что, если нам ему довериться?.. Я видал его у сержанта Акинфиева, и он мне говорил: «Хотят-де ныне к солдатству милость казать и за треть жалованье выдать, доимку не взыскивать и с которых доимка взята – возвращать. Из полков гвардии дворян отпустить в годовой отпуск и вычетными из жалованья их деньгами казармы достраивать и тем солдатство и всех приводят к милости...»

Покупают, значит, нас. И он, Камынин то есть, сим всем очень даже как бы возмущен. «Чудесно, – говорил он, – господа министры кого допустили править государством... И мой дядюшка Бестужев тоже министр... А какой он министр, не знаю я его, что ли?..» Так вот,

ежели бы через того Лукьяна нам провести от государыни принцессы – угодно ее милости, чтобы солдат к сему склоняли?.. Понимаешь?..

– Как не понять... И ежели только ее высочеству то угодно, я здесь, а ты, Михаила, на Санкт-Петербургском острове учинили бы тревогу барабанным боем. Моя гренадерская рота пойдет хоть куда. И тогда бы мы регента и сообщников его: Остермана, Бестужева и князя Никиту Трубецкого – убрали бы. Что же? Дальше терпеть?.. Я слыхал, есть такое регентово намерение ко всем милость показать: в Преображенский наш полк больших из курляндцев набрать... Отчего, вишь ты, полку будет – кр-расота!.. Значит, ничего не видя, хотят немцев набрать, а нас из полка вытеснить... Что ж, давай, побеседуем хоть и с Камыниным... Только верный ли он человек?..

– Ну?.. Отчего не верный?.. Он сам мне о том говорил: «Говорим мы-де о сем на один... Дело смертельное... Так ежели что, доносчику, кто будет, значит, доносить – первый кнут...»

– Что ж, дело... Иначе нельзя, – сказал Алфимов. – Ваше благородие, ребята откушали, прикажешь к работе?

– Ступай...

Барабанщик ударил, сзывая людей на работы.

IX

23 октября к одиннадцати часам утра в большой аудиенц-зале Зимнего дворца, к которой примыкала стеклянная галерея, были по приказу регента собраны министры кабинета, сенаторы, генералы и командиры полков, расположенных в Петербурге.

День был ясный и морозный. С залива дул ровный свежий ветер, Нева играла белыми зайчиками вспененных волн. На баржах и яликах с заречных сторон через Неву, в каретах и двуколках по гулко звеневшим обмерзлым доскам мостовой по улицам и проспектам съезжались приглашенные. Низкое солнце бросало веселые, оранжевые лучи на светлый штоф стенных обоев, играло радугою в хрустальных подвесках люстр и кинкетов и освещало портрет покойной императрицы работы Каравака. Полное лицо с точно подмигивающим правым глазом надменно и гордо смотрело из тяжелой золоченой рамы.

Сенаторы в красных кафтанах с золотым позументом и в белых панталонах держались отдельно от пестрой толпы генералов и офицеров в пехотных кафтанах с длинными полами, в узких кирасирских и драгунских мундирах. Яркое солнце и веселый, солнечный, будто праздничный день не отвечали угнетенному настроению большинства военных. Эти дни шли аресты среди офицеров Петербургского гарнизона, офицеров тягали в Тайную канцелярию и там кидали на дыбу, допрашивая «с пристрастием».

На правом фланге, где около старого заслуженного фельдмаршала Миниха собрались старшие чины, не смолкала немецкая речь. В стороне от генералов особняком держался художавый и нескладный, застенчивый герцог Антон Ульрих Брауншвейгский – отец императора. Ему было двадцать шесть лет, но выглядел он моложе. Свежее, длинное, овальное, породистое лицо его было юно, длинный, тонкий нос, большие, красивого выреза губы были женственны и придавали его лицу капризное выражение. Большой парик мелкой волны длинными локонами светлых кудрей ниспадал на плечи. В колете своего кирасирского Брауншвейгского полка – герцог числился в нем полковником, состоял в чине генерал-лейтенанта по армии – с кружевным шарфом на шее, в узких лосинах и высоких ботфортах, он, казалось, не знал, что ему делать среди старых и заслуженных генералов и куда девать руки.

– Ваше Высочество, пожалуйста сюда, – по-немецки позвал его Миних. – Вашему высочеству надлежит быть с нами, как первому чину армии.

Герцог улыбнулся совсем детской улыбкой. Он несмело подошел к генералам и, щуря большие серые, близорукие глаза, старался вслушаться, что говорит ему Миних.

У дверей, ведущих во внутренние покои, где был устроен теперь рабочий кабинет регента, церемониймейстер застучал тростью, в зале смолк гул голосов, и все стали усаживаться по чинам и положению по службе.

– Ваше Высочество, сюда!.. Сю-юда!.. – тянул за рукав герцога Антона Миних. – Вам место здесь, – он установил его правее себя.

Совершенно смущенный герцог хотел было как-то незаметно улизнуть за чью-нибудь спину, но в это время дверь растворилась, и в залу вошел, ступая размеренными шагами и высоко неся голову, регент.

Лицо с квадратным лбом, более широкое книзу, где опухшие щеки смыкались жирным блестящим подбородком с ямочкой, с маленькими презрительно оттопыренными губами и с изогнутым носом было важно и полно самоуверенной гордости. Серые глаза сверкали самодовольством. Все говорило в нем: «Это я – регент!.. Все равно что император!.. Хочу – и всю эту русскую сволочь в бараний рог изогну и к самым чертям брошу. Я заставлю недовольных молчать и повиноваться мне!»

В сидящем парике, локонами падающем на плечи, в кафтане и орденской алой епанче, он медленно, никому не отвечая на поклоны, прошел мимо сенаторов и направился к прямой, выровненной шеренге генералов. Позади него шел начальник Тайной канцелярии генерал Ушаков, за ним молчаливой группой адъютанты и пажи.

Тяжелыми шагами регент дошел до герцога Брауншвейгского и остановился против него, меряя его с головы до ног суровым взглядом серых немигающих глаз, потом посмотрел на Миниха, на вытянувшихся в струнку генералов и усмехнулся: власть пьянила его.

Солнечный луч играл на золотых украшениях мантии регента и слепил глаза. Регент прищурился. За пестрой линией генералов он видел голубеющую в ясном дне Неву, деревья в серебряном инее на Петербургском острове, темные верки крепости, белые стены, золотые купола и шпиль собора. Гордая мысль прошла в его голове: «Все сие теперь – мое, и кто посмеет отнять сие от меня?»

Путая немецкие фразы с русскими, регент стал выговаривать начальническим тоном герцогу Антону:

– Ваше Императорское Высочество позволяете себе то, что ни вашему чину генерал-лейтенанта армии, ни вашему положению никак не отвечает. Вы изволите слушать молодых, горячих офицеров, которые масакр зачинать хотят!.. Вы думаете угрожать мне!.. Я себя утешать не позволю... Вы полагаете, что как вы есть подполковник при Семеновском полку, то надеетесь на сей полк. Вы неблагодарный, кровожадный человек есть, да, если бы вы получили в руки ваше правление, вы сделали бы несчастными и сына вашего, и всю империю!..

Под публичным разносом безродного Бирона герцог Антон, родственник императора римского, отец императора всероссийского, вспыхнул. На мгновение воля шевельнулась в нем, и жутко почувствовал он нанесенное ему оскорбление. Он наложил левую руку на эфес своей шпаги. Глаза Бирона сверкнули. Он понял движение герцога как угрозу и, покраснев пятнами, горячо сказал, с силой ударив по своей в золото убранной шпаге:

– Как дворянин, готов и сим путем, буде принцу то желательно, разделаться.

Но герцог Антон вдруг весь обмяк и почувствовал, что силы его оставляют. Неприятная слабость охватила его тело, и незаметно для других, но чувствительно для него самого у него задрожали колени.

– Простите меня, Ваше Высочество, – прерывающимся негромким плаксивым голосом сказал он. – Я только по молодости моей имел неосторожность слушать легкомысленные предположения молодых офицеров... Но я не обратил на них никакого внимания... Мне надо было, может быть, приказать им молчать. Но я того не сделал. Я буду теперь более сдержанным. Прошу простить меня... Я не дам более никакого предлога на жалобу или выговор...

– Так знайте, Ваше Высочество, что ваши сообщники: Ханыков, Аргамаков и Алфимов – сегодня ночью пытаны на дыбе и сечены плетями... Ваше счастье, что они вас не оговорили.

Довольный своей силой, счастливый, что он мог одним словом уничтожить герцога Брауншвейгского, отца императора, генерал-лейтенанта русской армии, герцог отошел в сторону и, обернувшись к Ушакову, с наигранным презрением кинул:

– Андрей, разясни его высочеству, о чем постановила Тайная канцелярия...

Генерал Ушаков, низкий, толстый человек с тупым, красным, налитым кровью лицом с припухшими, набрякшими от бессонных ночей в застенке веками маленьких, узких, сонных глаз, палач в генеральском мундире, с толстыми квадратными руками, – про него рассказывали, что он сам этими руками поддавал жару плетями пытаемым на дыбе людям, – подошел к герцогу, и тот почувствовал, как одно приближение этого страшного человека лишает его воли и делает из него слабого ребенка. Слезы показались на глазах у герцога, и сильнее задрожали колени.

Ушаков заговорил тихо, отечески ласковым голосом, как бы увещевая и успокаивая непокорного мальчика:

– Ваше Высочество, если ваше поведение сему не помешает, мы все будем смотреть на вас, как на отца нашего императора... Но, Ваше Высочество, мы все слуги нашего императора, и если ваше поведение нас к тому обяжет, мы с вами поступим, как с подданным нашего императора... Ваша молодость, ваша неопытность могут вас кое-как извинить... Вы говорите, что вы заблуждались... Хорошо... Но если бы вы были старше?.. Если бы вы были умнее и имели способность предпринять и исполнить такое намерение, которое взволновало бы столицу и поставило бы в большую опасность мир и спокойствие, благоденствие и процветание нашей великой империи – я должен вам объявить с глубоким сожалением, я бы поднял преследование против вас как виновного в предательстве против вашего сына и повелителя, с такой же строгостью, как бы я сделал для всякого другого подданного Его Величества.

Регент строго посмотрел на молчавших сенаторов и генералов и сказал:

– Министры, сенаторы и генералы!.. Предлагаю вам сейчас еще раз подписать акт, нами составленный, о вашем искреннем желании нашего регентства для блага и пользы империи.

Он кивнул головой и вышел в ту же дверь, в которую вошел.

Граф Остерман вышел из толпы министров со свитком пергаментной бумаги. Два камерлакея выдвинули стол, поставили на нем тяжелую бронзовую чернильницу и положили пачку гусиных перьев. Герцог Брауншвейгский шатающейся походкой подошел первым к столу и подписал бумагу. За ним стали подходить министры, сенаторы и генералы...

Когда подписавшие акт выходили в прихожую и разбирали шубы и епанчи, старый Миних отыскал Ранцева и хлопнул его по плечу:

– Как поживаешь, старина?.. Все полком орудуешь?.. Который, однако, год!.. Не дают тебе хода?.. А?..

Миних взял Ранцева под руку и, отведя в сторону, зашептал:

– Видал, как с нами ноне поступают... Ах, дурак! Что мы мальчишки!.. А Антон-то нюни распустил!.. Нет!.. Надо ей самой сказать!.. Анне!.. Какой то будет удар для нее!.. Как твой сын смотрит на все сие?.. Что говорят в полку?.. Что преображенцы?.. А, что?..

– Вашему сиятельству, полагаю, лучше, чем мне, известны чаяния и вожеления наших солдат...

– Ах, so! N-пи, ja... Сие... Трудно!.. Невозможно! – И, нагнув Ранцева к себе так, что ухо того щекотали сухие губы Миниха, прошептал: – Незаконнорожденная... Совсем невозможно. И уже очень крутит... С кем попало...

– Но духовенство, ваше сиятельство...

– Что духовенство?.. Сам видишь, какое теперь духовенство, – Миних толкнул Ранцева от себя и частыми шагами, кутаясь в легкую епанчу, выбежал на крыльцо.

Рослый гайдук закричал на всю набережную:
– Фельдмаршала Миниха карету...

Золотой солнечный свет слепил глаза. Морозный ветер обжигал лицо. Весело плескали волны голубеющей Невы.

В этот вечер герцог Брауншвейгский сидел в опочивальне, где стояла колыбель его сына императора Иоанна III. Перед ним на столе горели две свечи, в их свете лежал большой лист плотной бумаги с каллиграфически чисто писарской рукой выведенным письмом. Герцогиня Анна Леопольдовна стояла над колыбелью сына. Ее лицо было презрительно и строго.

Она повернулась к мужу и сказала по-немецки:

– Так и подпишешь?..

– Что же я могу сделать? – дернув плечами, ответил герцог Антон.

– Дурак!.. Дурак и дурак!.. Дураком родился – дураком и умрешь... Все искусство твое – детей делать... А сам никуда...

– Я обещал, Анна...

– Обещал!.. Ты думал о том, кому ты обещал?.. Посмотри, что вокруг тебя делается... Везде ропот и неудовольствие... Отчего не позовешь Миниха и не поговоришь с ним?..

– Что Миних? – вяло сказал герцог Антон и взял в руку перо. В колыбели заплакал, забулькал слюнями ребенок-император, его сын.

На листе бумаги на имя этого ребенка крупными кудрявыми буквами было выведено: «Всепресветлейший, державнейший великий государь император и самодержец всероссийский, государь всемилостивейший...»

Герцог Антон читал эти строки. «Государь всемилостивейший» продолжал плакать. Анна Леопольдовна склонилась над колыбелью и тихим голосом успокаивала ребенка.

Герцог Антон перечитывал написанное: «По всемилостивейшему Ее Императорского Величества блаженные и вечно достойные памяти определению пожалован я от Ее Императорского Величества в чины – подполковника при лейб-гвардии Семеновском полку, генерал-лейтенанта от армий и одного кирасирского полку полковника. А понеже я ныне, по вступлении Вашего Императорского Величества на всероссийский престол желание имею помянутые мои военные чины низложить, дабы при Вашем Императорском Величестве всегда неотлучным быть.

Того ради, Ваше Императорское Величество, всенижайше прошу, на оное всемилостивейше соизволя, от всех тех доныне имевших чинов меня уволить и Вашего Императорского Величества указы о том, куда надлежит, послать; также и всемилостивейшее определение учинить, чтоб порозжие чрез то места и команды паки достойными особами дополнены были...»

Герцог Антон умакнул перо и написал внизу: «Вашего Императорского Величества нижайший раб Антон Ульрих...»

Потом присыпал пестрым песочком подпись, упал головой на стол и громко, как ребенок, заплакал.

– Ну, вот чего еще недоставало, – с досадой сказала Анна Леопольдовна и, взяв императора из колыбели, понесла его в соседнюю комнату, подальше от горькими слезами плачущего его «нижайшего раба» и отца...

Х

В первых числах ноября все воинские части и старшие начальники получили отпечатанный на отдельном листе желтоватой рыхлой бумаги крупными черными буквами «Указ нашей военной коллегии». В этом указе было объявлено:

«Понеже Его Высочество наш родитель принц Антон Ульрих, герцог Брауншвейг-Люнебургский, как из приложенной при сем копии явствует, желание свое объявил имевшиеся у него военные чины низложить, а мы ему в этом отказать не могли, того ради и чрез сие о таком его высочества низложении чинов военной коллегии объявляется для известия, яко же и в гвардии такой же наш указ послан. А бывший у его высочества кирасирский полк, именуя и впредь его неотменно Брауншвейгским полком, определили мы отдать генерал-фельдмаршалу гр. фон Лессию, вместо определенного ему полевого полку, к которому потому же другого командира нам представить надлежит. И повелеваем нашей военной коллегии о вышеписаном учинить по сему нашему указу. Именем Его Императорского Величества Иоанн, регент и герцог. Скрепили: Андрей Остерман, князь Алексей Черкасский, Алексей Бестужев-Рюмин. Ноября 1-го дня 1740 года...»

Его Императорскому Величеству, чьим именем родитель его герцог Антон Ульрих был вышвырнут из армии, шел третий месяц.

Этот указ произвел в армии большое и тягостное впечатление. Если маломесечный император, сосущий соску, так распорядился с «любезнейшим своим родителем», какая же участь могла ожидать любого из генералов армии... За неосторожное слово и даже не им сказанное, а сболтанное кем-нибудь из молодых подчиненных, по доносу, по оговору недовольного офицера или солдата можно было лишиться чинов и службы, попасть под розыск и познакомиться с дыбой и плетью.

Жутко и настороженно стало в военных кругах Санкт-Петербурга. Тайная канцелярия свирепствовала. Генерал Андрей Ушаков и князь Никита Трубецкой искали крамолу при самом герцогском дворе. Адъютант принца Брауншвейгского Петр Граматин, «токмо по одному сумнению чрез того адъютанта все ведать», герцогские секретари Андрей Яковлев, Любим Пустошкин и Михаил Семенов были приведены в застенки и подняты на дыбу.

Им дали по шестнадцати ударов плетью. Ухо Бирона и его глаз были приложены к самому двору Анны Леопольдовны и там искали измену.

Анна Леопольдовна наконец возмутилась. При всей своей лени и беспечности она поняла, что, если дело пойдет этим путем, ей самой и ее мужу может угрожать опасность.

– Бирон зазнался, – повторяла она сама себе, – Бирон совершенно забыл, кто он и кто мы... Сего так оставить не можно.

Она обласкала семью фельдмаршала Миниха и назначила гофмейстером своего двора сына Миниха.

Зимним утром она вызвала к себе фельдмаршала. Она приняла его в своей опочивальне как месте, где она чувствовала себя в относительной безопасности.

Фельдмаршал в парадном кафтане, в звездах и при лентах вошел в полутемную комнату, где было угарно и сильно пахло ладанным куреньем, и остановился у двери. Анна Леопольдовна поднялась от божницы, где она стояла на коленях. Ее лицо было в слезах. Она протянула руку фельдмаршалу, приглашая его подойти ближе, и когда он целовал пухлую горячую, пахнущую лавандой руку, герцогиня тяжело вздохнула и тихо сказала по-немецки:

– Ах, мой милый Миних!..

Она взяла руку фельдмаршала и, глядя в его стальные глаза, продолжала по-немецки:

– Фельдмаршал, вы большой человек... Вы можете понять мое горе и мои опасения. Я больше не могу. Я дошла до предела... Я не могу дольше сносить оскорблений, которым подвергают меня и моего мужа. Тирания герцога мне больше не под силу. Я ныне и у себя в доме не хозяйка и не в безопасности... Я решила покинуть Россию... Но, вы понимаете, я не могу разлучиться с сыном... Он – все, что мне дорого на свете... Он мое сокровище... В нем моя кровь...

– Ваше Высочество, – нерешительно сказал Миних. В его голосе Анна Леопольдовна услышала колебание и недоверие. Она крепче сжала руку старого фельдмаршала и долго с немym упреком смотрела в его глаза.

– Вы мне не верите, Миних?..

– Ваше Высочество, смею ли я?..

– Нет... По глазам вашим я вижу – вы мне не верите!.. Но, Миних, я имею тому доказательства... Неужели вам мало того унижения, которое испытал герцог в присутствии всего генералитета... Моих верных слуг хватают и бьют плетью, сдирая с них кожу только за то, что они нам верные слуги. Миних!.. Что же сие будет?.. Не знаю, о чем помышляете вы, когда все сие касается армии, которой вы отдали столько своих сил и с которой вы толикую себе стяжали славу. Но я... Я дальше не могу этого сносить... Не забудьте – я мать!.. Мать императора!.. Вы это должны понять!.. Я мать!..

– Ваше Высочество, – тихим голосом сказал Миних, высвобождая свою руку из руки герцогини и отходя в самый угол комнаты, подальше от дверей, – если дело зашло так далеко... и Ваше Высочество с возлюбленным сыном вашим, императором всероссийским, хотите даже покидать Россию?.. Благо государства заглушает во мне признательность, которою я обязан герцогу... Ваше Высочество, вам стоит только приказать и объявить о своих намерениях гвардейским офицерам, которых я приведу к вам, и я... арестую герцога Курляндского.

Анна Леопольдовна отшатнулась от Миниха. Она, казалось, испугалась столь решительных действий фельдмаршала. Она устремила глаза на божницу и несколько долгих минут смотрела на иконы, ища в молитве совета.

– Миних, – сказала она наконец, и голос ее дрожал, в нем слышались слезы. – Да все сие может быть... по-военному... и так... Я высоко ценю усердие ваше к службе... Но, Миних, вспомните о судьбе семейства вашего и вашей... И себя и их вы погубите.

– Ваше Высочество, когда дело идет о службе царю и о спокойствии государства, какая может быть речь о себе или о своем семействе?.. Я, Ваше Высочество, о своей жизни, во многих бывших баталиях, никогда не помышлял.

Анна Леопольдовна крепко пожала руку Миниха и проводила его до дверей спальни, не сказав ему больше ни слова.

Из Зимнего дворца Миних поехал в Летний дворец к герцогу Бирону. Была гололедица, порхал мелкий, льдистый снежок, по посыпанным желтым речным песком доскам мостовой лошади кареты Миниха скользили, и Миних ехал шагом. Время было продумать последствия всего сказанного. Миних вспоминал свою военную службу и повторял слова петровской военной науки. Бирон был неприятелем. Его надо взять штурмом, и Миних обдумывал план атаки.

«Быстрота: атаковать неприятеля, где бы он ни встретился... Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови...» Да, велик был Петр... Малой кровью повелевал добывать победу... Малой кровью... А мы?.. Какими мы головами играем!.. За такое дело и младенца-императора не пожалеют... Четвертовать за милую душу!.. Но... Где тревога, туда и дорога. Посмотрим, как там?..»

Миних ехал произвести личную разведку неприятельской крепости. Еще не погребенное тело императрицы Анны Иоанновны стояло в парадных залах Летнего дворца. У дворца был большой караульный наряд. Пропускали людей всякого звания поклониться набальзамированному телу государыни. В самом дворце пахло еловой хвоей, цветами, ладаном и воском и было то особенное, напряженное состояние, какое всегда бывает, когда в доме надолго остается без погребения покойник. В нижних залах от растворенных дверей было холодно и колебались желтые огни свечей у гроба.

Миних – ему сейчас же очистили место в очереди людей, шедших поклониться покойнице, – подошел к гробу, тяжело, по-стариковски преклонил колени, долго всматривался в пожелтевшее лицо точно спящей императрицы, покачал головой, неловко, как крестятся люте-

ране, перекрестился и, высоко неся красивую голову, вышел из залы и стал подниматься по лестнице в покои герцога.

Бирон обрадовался старому фельдмаршалу. По той торопливой ласковости, с какой регент стал оставлять Миниха у себя и упрашивать отобедать, Миних понял, что беспокойно на душе у Бирона. Покойница, согласно с обычаями все не могущая покинуть его дома, городские слухи и всюду кажущаяся, действительная или мнимая измена – все тревожило Бирона. И Миних это сейчас же почувствовал.

«Где тревога – туда и дорога...»

Миних остался обедать у Бирона, спокойно, по-дружески разговаривал – и все по-немецки – с регентом, рассказывал о своих походах и победах над турками, делал характеристики генералам и полковникам, назначенным на замену тех, кого регент подозревал в измене. Они курили трубки и казались искренними старыми друзьями. Маленькими, зоркими, острыми глазками все поглядывал Миних на Бирона и оценивал его, как крепость, которую собирался штурмовать: что, мол, сдашься или крепкое будешь чинить сопротивление?

– Ранцева от Ладожского полка надо убрать в первую голову, – сказал Бирон и закутался облаками табачного дыма. – Хороший солдат, а мне не нравится.

– Да, хороший солдат, – подтвердил Миних. – Петровский... Мало таких у нас осталось.

– Убрать!.. – дрогнувшим голосом повторил Бирон. – И его сына, капитана Преображенского полка... И весь полк... Бунтовщики!.. Убрать всех к чертовой матушке!..

Миних качнул головою и подумал: «Ну, сие!.. Как бы они еще тебя самого не убрали... Боишься?.. Где тревога?.. Да, самое время... Ее материнское чутье ее не обмануло...»

Он раскурил трубку, открытыми глазами твердо посмотрел на Бирона и сказал с равнодушной флегмой:

– Что ж, уберем... Я составлю доклад военной коллегии.

До семи часов вечера Миних оставался у Бирона, потом вернулся к себе и стал обдумывать, как взять ту крепость, гарнизон которой уже находился в тревоге. Миних знал, что герцог отдал от себя приказание караулу у его Летнего дворца стрелять по всякому отряду войск, большому или малому, который появится у дворца после десяти часов вечера и до пяти часов утра.

«Дело, значит, надо сделать аккуратно».

Миних не лег спать. Все у него было хорошо продумано, но вдруг заколебался. Войска ему не изменят, войска его послушают, но может передумать, испугаться и изменить в последнюю минуту сама принцесса Анна. Она мать и, как мать, может все сделать для спасения своего ребенка. Миних вызвал к себе своих адъютантов Манштейна и Кенигсфельда и приказал подать сани и карету. В сани посадил Манштейна, сам с Кенигсфельдом сел в карету и поехал в Зимний дворец. У дворца он сказал адъютантам:

– Мне надо поговорить с сыном-гофмаршалом. Оставайтесь у дверей и ждите меня.

В карауле была рота Преображенского полка капитана Ранцева.

Караульный начальник остановил его.

– Ваше сиятельство, – сказал он, салютуя эспантоном, – имею приказ вашего сиятельства никого не пропускать на половину, где помещается Его Величество и герцогиня Брауншвейгская.

– Я освобождаю тебя от данного мной приказа, – твердо сказал Миних. – Возьми с собой своих офицеров и следуй за мной.

Они прошли к спальне герцогини. Спавшая у дверей дежурная камер-фрейлина в испуге кинулась к ним.

– Судари, – закричала она, – что вы делаете?.. Ее Высочество уже давно почивают.

– Одна?.. – спросил Миних.

– С младенцем-императором.

– Разбуди Ее Высочество и скажи, что фельдмаршал Миних просит выйти по неотложному делу.

Но уже шум у дверей спальни разбудил Анну Леопольдовну, и она вышла в темном шлафроке и белом большом платке со свечой в медном подсвечнике в руках.

– Ваше Высочество, – решительно и твердо сказал Миних. – Я иду исполнить ваше приказание арестовать герцога Курляндского, но мне надо, чтобы вы, в присутствии караульных офицеров, подтвердили его.

– Господин фельдмаршал, – взволнованно, глубоким, дрожащим голосом сказала Анна Леопольдовна, – господа офицеры!.. Мой желаний есть, чтобы вы арестовали герцога... Он не дает нам жить... Сие терпеть дольше нельзя. Офицеры молча поклонились. Герцогиня подошла к Миниху и поцеловала его в лоб, потом подбежала к Ранцеву, обвила горячими руками его шею и крепко поцеловала в щеку, после перецеловала обоих бывших с ним офицеров.

– Ступайт, – сказала она. Слезы блистали на ее глазах. – Бог помогайт вам!

– Камрады, – сказал Миних. – Идемте и исполним наш долг перед Родиной и государем.

Офицеры повернулись по-уставному и пошли за Минихом.

Морозная ночь лежала над Петербургом. Снеговой покров лег на улицы ровной, не наезженной пеленой. Снег продолжал сыпать крупными хлопьями. На гауптвахте тускло горели желтыми пятнами фонари. Снежинки в их свете играли перламутром.

XI

Цесаревна проснулась в своей спальне в Гостилицах в восьмом часу утра и, накинув шлафрок, подбежала к окну и отдернула занавеску. Она не ошиблась. Недаром она так крепко, не просыпаясь, проспала всю ночь. Все было бело кругом от нападавшего глубокого, рыхлого еще снега.

Горностаевым мехом оделась земля, в чеканные серебряные ризы обрядились леса. Над белыми холмами, из-за Глядинской мызы желтым кругом в оранжевое небо поднималось солнце и слепило глаза цесаревне. От окна дуло хорошим морозом, и сквозь стекла было слышно, как на дворе скрипели шаги по снегу. У кухонного подъезда стояли сани, запряженные лошады. Шерсть была у лошади в мокрых кольцах и завитках и дымилась на воздухе. Кругом, сколько глаз хватал, были в зимней оправе леса. Такая тихая радость была в Божьем мире, что цесаревна всем существом своим ощутила ее, и весело забилося ее сердце.

Она разбудила заспавшуюся горничную и послала ее за камердинером Чулковым.

– Ступай, – сказала она ему, – буди Алексея Григорьевича, пусть убирается в верховой костюм. Сейчас же седлайте мне Драмета... Какая погода! Мы поедем кататься... Какой снег-то напал!.. Нежный, пушистый, – самая пора ныне скакать!..

В том же радостном возбуждении цесаревна вышла в маленькую залу подле спальни. Новая радость ее ожидала. Из петергофских оранжерей ночью, санями, в корзинах, укутанных в войлок и солдатское сукно, ей привезли первые гиацинты и тюльпаны. Зала, где было свежо и где истопник только растапливал голландскую, в белом с голубыми рисунками кафеле печь, была напоена свежим, нежным, сладким запахом гиацинтов. Розоватые новые рогожи были постланы на блестящий паркет, и на них стояли большие, из дранки сплетенные овальные корзины, полные маленьких горшков с цветами. Садовник и два камер-лакея расставляли их в золотых вазонах.

– Экие вы, братцы, – воскликнула цесаревна, – ну, куда вы пихаете лиловые?.. Розовые ширмы и лиловые гиацинты!.. Сюда тащите тюльпаны. Великолепные, отменные у вас вышли в этом году тюльпаны, лучше, чем у меня в Перове. И стебли когда успели такие длинные дать!

Она отошла от ширм и, прищурив голубые, прекрасные глаза, смотрела издали на готовую вазу с цветами.

– В самый раз потрафили, – сказала она, поворачиваясь к садовнику. – Больше здесь не надо. Остальное тащите в столовую. Здесь только – розовое, белое и чуть-чуть красных поставить, туда, в тень, в самый угол.

Сама красота несказанная – цесаревна и вокруг себя любила все красивое. Она сказала по-немецки садовнику:

– Ладно?

– Так точно, Ваше Высочество, – улыбаясь, ответил немец и стал по-немецки рассказывать, как им удалось вывести столь ранние цветы.

– Очень хороши в этом году голландские луковицы, что летом пришли на корабле Якова Геррица из Амстердама. Вы посмотрите, какие густые эти белые... Низковаты немного, зато какие пышные и какие ароматные.

Цесаревна подошла к золотой вазе, наполненной цветами, и опустила в них свое свежее, румяное лицо.

– Да, – с тихим вздохом сказала она, – удивительны. Аромат... Свежесть... Не надышишься...

В дверь осторожно постучали.

– Входи, Алексей Григорьевич.

В белом камзоле, высоких сапогах Разумовский казался еще выше ростом, красивее и статнее. Цесаревна, не отрываясь от цветов, протянула ему маленькую руку. Тот поцеловал ее и остановился, не зная, что сказать. Восторг и обожание горели в его глазах. Так хороша была его царевна сказки в этом царстве диковинных цветов. Она поняла его мысли и счастливо улыбнулась.

– Ну что?.. Как почивал?..

– Ваше Высочество... Как вы?.. Как вы изволили почивать?..

– Так спала... Так спала... И сны какие-то снились, а какие, не запомнила... Что скажешь?.. Зачем пожаловал?..

– Какой кафтан повелишь надевать на прогулку?

Она прищурила глаза и рассматривала его, как бы соображая, во что и как ей обрядить своего любезного. Веселые искры загорелись в глазах, ямочки заиграли на полных щеках.

«Нет... хорош, хорош мой Адонис... В тридцать лет какой стан! Во что мне обрядить его?.. А?.. Придумала».

Она погасила загоревшийся в ней огонь. Кругом были люди, и хотя, конечно, те люди все знали, – она соблюдала придворный этикет.

– Холодно, друг мой неизменный, а я хочу много и долго кататься. Надевай белый полупубок и шапку казацкую белой волны... А я надену белую амазонку, кафтан на горностае и горностаевую шапку. Лошади будут серые, снег кругом белый... Вот-то ладно будет. А с собою возьмем черных моих арапов и на вороных лошадях и с ними Нарцисса и Филлиду...

– Обе черные, в стать и в лад им, – подхватил Разумовский, которого заражало веселье и радость цесаревны.

– Итак, поторопись...

– Зараз и обряжаюсь.

Цесаревна сделала менуэтный поклон и побежала легкой побегой, точно горная лань, к себе в опочивальню.

Рослые, широкие, с львиною грудью и толстыми крупами, с маленькими щучьими головками, ганноверские лошади в драгоценном уборе прыгали, еле сдерживаемые арапами в красных кафтанах. Большие меделянские собаки, такие же черные, как и арапы, метались в своре. В морозном воздухе звонок был их веселый лай.

Едва коснувшись маленькой ножкой руки арапа, цесаревна легко вспрыгнула в седло. Арап оправил на ней широкую, тяжелую и длинную амазонку, закрывшую лошадь до самого хвоста. В маленькой белой шапочке с соколиным пером на золотых кудрях, в туго в талии стянутом кунтуше цесаревна, прекрасно сидевшая на лошади, и точно, казалась не земной, не действительной, но точно из мира сказок прибывшей сюда, в белые снега, к белым, высоким, в серебряном инее березам широкой аллеи, людским вымыслом созданной, прекрасной царь-девицей.

Они поскакали галопом по дороге, шедшей по косогору. Так, согреваясь скачкой, дыша полной грудью морозным воздухом, проскакали они версты две и въехали в густой, запорошенный снегом, заиндевелый лес. Дорога обозначалась лишь узким санным следом. Крестьянские обозы еще не прошли по ней и не накатали ее. По рыхлому, глубокому снегу лошади шли воздушно и легко, высоко поднимая ноги. Их перевели на шаг и ехали молча, отдав повод задымившим лошадям. К нежному запаху снега стал примешиваться терпкий запах конского пота. Утомившиеся псы бежали рядом, раскрыв пасти и выпустив красные языки. Они поглядывали умными блестящими глазами на цесаревну.

Радость мира была вокруг них. Каким далеким им казался сейчас Петербург со всем тем, что в нем совершалось.

– Хорошо, Алеша?

– Дюже гарно.

– Ах, Алеша, Алеша!.. Быть может, все сие и грешно по отношению к Анне... Да что поделаешь!.. Живешь один раз и жить так хочется!.. Надоели мне все те панихиды и траур... И сколь много там лжи. Хотя на неделю урваться сюда. Да простит мне Бог и военная коллегия, сегодня мы послушаем за обедом французскую певицу... Чуть-чуть... одну-две песни... Сие не должно нарушить ни печали, ни траура по нашей сестрице. Государыня Анна Иоанновна и сама все сие жаловала, и у престола Всевышнего, где она ныне находится, она нас не осудит и замолит наши грехи... Если сие и правда такой уже большой грех радоваться Богом дарованной нам жизни и ее уладам?.. Тс-с-с. Стой, – шепотом закончила она свои слова и, протянув руку, остановила Разумовского, арапов и собак.

– Гляди, – восторженно прошептала она. – Ты понимаешь это?.. Совершеннейшую сию красоту?

На молодой невысокой, в снегу и инее, как в белой с серебром шубке, елке сидели три снегири-самца и с ними серая, скромная самочка. Снегири надували розовые пушистые грудки, выгибались голубо-серыми гладкими спинками и, тихо посвистывая, точно ухаживая за своей бедно одетой любезной, перепрыгивали с ветки на ветку. Крошечными алмазами падала из-под черных лапок снежная пыль. Только и всего было. Но в том восторженно-размягченном состоянии, в каком была цесаревна, эти птички показались ей несказанно красивыми, и несколько мгновений, пока птицы, испуганные Филлидой, захотевшей ближе посмотреть на них, не вспорхнули и улетели, она, раскрыв совсем по-детски рот, любовалась ими.

– Зачем ты сделала сие, Филлида? – с тихим упреком сказала цесаревна и тронула лошадь широкою рысью, и долго так ехала она, прыгая в седле и радуясь колыханиям полнеющего тела, где все горячее и горячее бежала кровь.

Какая-то совсем особенная радость и ликование заливали широким потоком ее душу, и хотелось, чтобы радость эта, жизнь эта среди прекрасной природы никогда ничем не прерывались.

Зимний день догорел, и синие сумерки спустились над белым миром, когда цесаревна в красивой темно-серой траурной «адриене» вышла к обеденному столу, накрытому на два прибора. Разумовский в простом черном кафтане ожидал ее. В углу у клавикордов были французская певица и итальянец-аккомпаниатор. Камер-лакеи стояли за стульями с высокими спинками. На столе горел канделябр о пяти свечах, у клавикордов были зажжены две свечи. Углы

просторной столовой тонули во мраке. В ней было тепло, чуть пахло ладанным дымом догоравших в печи сосновых смолистых дров и была вместе с тем та особая свежесть, какая бывает зимой в деревянных дачных строениях среди полей и лесов. В большом камине только разгорались, потрескивая, большие трехполенные дрова.

– Садись, Алеша.

Молодая кровь, возбужденная ездой по морозу, играла в жилах цесаревны. Румянец не сходил с ее щек. Потемневшие в сумраке столовой глаза вдруг отразят свет свечей и загорятся темным агатом. Совсем другая была теперь цесаревна, чем утром на прогулке. Точно далекая и влекущая.

– Ваше Высочество, горилки повелишь?..

– Ты пей, Алеша, а я не буду. От водки, люди сказывают, полнеешь. А я?.. – Цесаревна с милой и смущенной улыбкой коснулась больших, упругих, красивых грудей, стянутых платьем, и покраснела... – Уж очень я добрень стала.

Камер-лакей поставил перед ней высокую серебряную кастрюлю, укутанную белоснежным полотенцем, и торжественно провозгласил:

– Ваше Императорское Высочество, уха из налимьих печенок.

– Разливай, Федор.

– Ваше Высочество, может быть, повелишь венгерского?..

– Хорошо, налей немного.

– А мне разреши, Ваше Высочество, под ушницу еще трошки горилки. Пожалуй меня.

– Так и быть, – снисходительно улыбаясь слабости своего друга, сказала цесаревна. – Так и быть, пожалуй.

Она положила ложку и обратилась к певице:

– Какую пословицу вы нам предложите, сударыня?

Певица встрепенулась, опустила в глубоком реверансе и сказала звонко:

– Пословицу выпивок. Высоко нормандскую...

– Сие в твой огород, Алеша, – тихо сказала Разумовскому цесаревна.

– Ну?

Француженка заговорила с милой улыбкою.

– Чего же она такого балакает?

– Она сказала: под яблоко пьет человек, под грушу человек пьет...

– Оце... Подивиться!.. На що мени яблоко, груша?.. Ничого не схочу! По мне соленый огурчик альбо редька покрепче – вот под сие хватить, и точно, гарненько буде.

– Итак, мы ждем.

Итальянец с церемонным поклоном расправил фалды кафтана и уселся на табурет перед клавирами. Разумовский хотел еще что-то сказать, но цесаревна шикнула на него. В столовой стало тихо. Чуть звенели ложки, да в углу, где за отдельным столом форшнейдер резал жареного зайца в свекольном соусе, звякнул нож.

В эту тишину плавно вошел переливающийся ритурнель аккомпанемента, певица спустила руки вдоль фижм платья, подняла голову, округлила веселые черные глаза и запела приятным меццо-сопрано:

Друг, по-це-лу-и пресны
Без частых перемен,
Любовь неинтересна
Без легкости измен.

Последний слог она протянула и оборвала, делая фермату. Цесаревна перестала есть зайца, тихо вздохнула и задумалась, положив щеки на ладони.

Певица продолжала быстрее и шаловливее под долгие аккорды аккомпанемента.

Она прошла коротким шагом, танцуя, приподнимая концами пальцев края юбки и повторяя игривый куплет:

В огне сладком веселья горя,
В переменах любви и вина
Пусть проходит и ночь и заря...

Вечер был длинный и незаметно сливался с ночью. Цесаревна сидела вдвоем с Разумовским у камина. Березовые дрова догорали, осыпаясь в красных угольях. В столовой было темно, свечи, кроме одной, были погашены, красные отблески углей отражались в паркете, как в воде. Разумовский играл на бандуре и тихо мурлыкал малороссийские думы. Цесаревна глубоко уселась в кресло, протянула ноги на расшитую подушку, брошенную на пол у камина, и то закрывала глаза, то открывала их. Свои сладкие думы шли у нее в голове.

– Без тебе, Олесю, пшеницю возити,
Без тебе, голубонько, тяжко в свити жити.
Як день, так ничь то рве душу,
Я до тебе прийти мушу,
Хоча й не раненьке, Олесю-серденько...

Цесаревна думала о сладком покое любви, о радости Божьего мира, о приятности солнечного зимнего утра, белых снегов, мороза и запаха гиацинтов в зале, куда она вошла сегодня рано утром. Она ощущала во всем теле упругое движение прекрасных лошадей, их силу, покойный мерный галоп с веселым пофыркиванием по глубокому снегу, красоту заиндевелого леса и снегирей на серебряной елке. Какой это был прекрасный, незабвенный день!.. Как вкусен был деревенский обед и милое пение шаловливой француженки! Как удивительно хороша жизнь в этом чудном Божьем мире со своим любезным!.. Весело шалить с ним и спать в теплой горенке в очаровательной тишине морозной зимней ночи среди необъятных лесов и полей. Она предвкушала долгую ночь на мягкой постели с милым дружкой. Что ей может помешать так жить?.. Никому не мешая и ни во что не вмешиваясь. Пусть там – Бирон. Сами выбирали, сами сажали на престол, – и тогда, когда скончался этот славный юноша, влюбленный в нее, Петр II, это была их воля призвать Анну, а не ее, их воля была окрутить Анну советом и проглядеть, в чьих руках, в чьей воле была Анна... Она лежит теперь, бездыханная, у Бирона в Летнем дворце... Подписала она письмо, или, как говорят, ее подпись подделали Бирон и Остерман?.. Но те-то дураки – сенаторы, министры, генералы – признали подпись и присягу давали двухмесячному императору и регенту Бирону... Если они были так глупы, ей-то какое до всего этого дело?..

– Без тебе, Олесю, буйный витер вие,
Без тебе, голубонько, солнышко не грие...
Як день, так ничь то рве душу,
Я до тебе прийти мушу,
Хоча й не раненьке, Олесю, серденько...

– Без тебе, Олесю... – шепчет цесаревна. – А как же мои солдаты?.. Анна смеялась надо мною, что я устраиваю у себя в Смольном ассамблеи для преображенских солдат... Им скучно без меня... Им страшно без меня... На дыбу бросают!.. Плетями без жалости секут! Моих преображенцев!.. Моих семеновцев!!

Она крепко стиснула зубы и тяжело вздохнула. Волнующие, страшные мысли прервали сладкую дрему любви.

Чуть слышно бормочет под звон струн бандуры Алеша... «Алеша – Олеся... Олеся...»

– Скажи ж мени правду, словечко вирненьке,
Чи коли привернесья до мене любеньке...
Миркуй, сердце, миркуй, любке,
То до мене прибудь хутке,
Бо буде пизненьке,
Олесю-серденько...

ХП

Было очень поздно. Томительная тишина была кругом. Цесаревна тянула предвкушение ожидающего блаженства сладкого сна в тишине и теплой свежести и не шла в опочивальню... Не уйдет этот сладкий миг. За окнами, в саду, во дворе во флигелях служб все давно уснуло. Едва светились в окнах за спущенными шторами цветные огоньки лампадок да неясные желтые отсветы зажженных кое-где ночников. Псы замолкли на мызе и в селе, за окном было слышно, как с тихим шорохом что-то невнятное шепчет лес – то ночь шествовала по земле легкой воздушной поступью.

Струны бандуры зазвонят у камина, тихий голос – уже не может громко петь Алеша – расскажет трогательную малороссийскую песнь-думу, где самые слова ласкают сердце, Алеша наложит ладони на струны и усмирит их томный рокот. Молчит, устремив большие, темные глаза в очи цесаревне. И такая в них жажда обладания, такая могучая страсть, что цесаревна не в силах вынести – отведет глаза.

«Ничего!.. Подождешь!.. Не уйдет сие от нас!.. Потерпи!..» Лень двигаться, лень думать, лень слушать и смотреть. Блаженное состояние покоя сковало ее тело и слило его с тишиной и мерным шепотом медленно шествующей ночи.

Внезапно у ворот залаяла собака, и сейчас же вся псарня на мызе залилась хриплым тревожным лаем. Им вторили на селе, и поднялся тот зимний, недовольный, злобный и дружный лай, что далеко слышен зимой и радует заблудившегося путника. Послышался, или так показалось, окрик часового. У ворот калитка хлопнула. Лай усилился, стали слышны людские голоса. В нижнем этаже, где были залы, кто-то прошел торопливой поступью, раздался стук растворяемых дверей и шаги по лестнице.

В столовую постучали и, не дожидаясь отклика, приоткрыли дверь.

Камер-медхен, босая, в белой ночной юбке, с укутанной теплым вязаным платком грудью, с горящей свечой в медном шандале, заглянула в столовую.

– Простите, Ваше Высочество, я полагала, вы в опочивальне.

– Что там за шум, Вера? – спокойно спросила цесаревна.

– Ваше Высочество, сейчас пришла какая-то монашенка и домогается непременно вас сейчас же повидать.

– Сейчас?.. Ночью?.. Что она, с ума спятила? Пусть дождется до завтра... Завтра, когда укажу, тогда и придет...

– Я ей говорила, Ваше Высочество... Такая настойчивая, не приведи Бог... Плачет даже... Кричит: «Я не для того ночью лесом бежала, чтобы до утра ждать!.. Меня волки загрызть могли. Бог меня спас... Утром уже и поздно будет...»

– Сказилась, дуже сказилась, – сказал, вставая и надевая кафтан, Разумовский. – Да откуда она?.. От кого?..

– Сказала – из Питербурха.

Цесаревна переглянулась с Разумовским. Желание сна и покоя боролись в ней с любопытством.

– Уже опять не сумасшедшая ли то наша Рита, – сказала цесаревна. – Ну, пусть войдет, только скажи: на одну минуту.

Разумовский хотел уходить, но цесаревна остановила его:

– Останься, Алеша. Послушаем, что еще там прилучилось.

Разумовский восковым фитилем зажег канделябр на камине. Тени побежали по стенам и прогоняли обаяние дремоты и тихой поступи ночи. Собаки на дворе умолкали.

Камер-медхен открыла двери и пропустила высокую тонкую девушку с лицом, закутаным черным платком. Та бросилась к ногам цесаревны.

– Ну, конечно, Рита, – сказала цесаревна и подняла с колен совсем обмороженную девушку.

– Ваше Императорское Высочество, простите мою дерзость и настойчивость, но я должна, должна, должна видеть вас еще сегодня.

– Опять что-нибудь придумала, – сказала цесаревна, открывая лицо Риты и глядя на лоб со шрамом недавнего ранения на виске, на незаживавшие рубцы на щеках.

– Как же добралась ты до меня, Рита?.. Опять, как для меня рисковала...

– Ваше Высочество, я целый день шла, не присаживаясь... Вы знаете, какой глубокий снег!.. Только в Петергофе егермейстер Бем дал мне сани и провожатого.

– Ничего не ела... Совсем замерзла... Ну, верю, что что-нибудь тебя заставило так поступить... Садись... Алексей Григорьевич, распорядись, братец, ужину ей подать и вина... Дрожит вся...

– То так... От волнения... Я так счастлива, что застала вас и могу все вам рассказать... Дело касается России...

– Ну, ладно... Ладно... Уже и России!.. Много зря болтают...

– Ваше Высочество...

– Ну, рассказывай, с какими «эхами» опять ко мне примчалась.

– Ваше Высочество, тут ныне уже не об «эхах» речь... Вчера ночью фельдмаршал Миних арестовал Бирона...

– Да что ты? – воскликнула цесаревна.

– Посказились они там все в Питербурхе, – сказал Разумовский и стал размешивать догорающие уголья в камине.

– Арестовал Бирона, жену его и сыновей, и сегодня на рассвете их многими санями отправили, кто знает куда... Говорят – в Шлиссельбург. Бестужев тоже арестован... Ваше Высочество, вам незамедлительно надо ехать в Петербург... Офицеры и солдаты просили меня передать вам... Мой брат с ними был при самом аресте... Они пошли против присяги регенту ради вашего высочества...

Цесаревна в большом волнении прошла по столовой. Все мечты ее, все вожделения, сладкие думы о покойном сне были разбиты, разлетелись прахом, точно и не было их... Надо ехать в Петербург... Зачем?.. Солдаты арестовали Бирона для нее... Для нее ее солдаты пошли на страшный, смертный подвиг... Народ... Россия ее зовет... Она должна ехать.

Цесаревна дернула за шнур звонка у двери и, повернувшись к Рите, сказала:

– Все без утайки мне рассказывай. Сейчас прикажу готовить возок... Если надо – к рассвету будем в Петербурге...

Рита торопливо, нервно ела поданный ей холодный ужин и рассказывала сбивчиво, прерывчиво, не зная, что важнее: то, что она слышала, или то, что сама видела.

– Началось сие, еще когда... как скончалась государыня императрица Анна Иоанновна и был объявлен тот указ о регентстве, вот тогда и пошли первые разговоры. В церкви Исаакия

Далматского двадцать третьего октября приводили матросов к присяге по манифесту. Счетчик Максим Толстой отказался присягать. Его схватили... Он и объявил всенародно: «Для того сие делаю, что государством повелено править такому генералу, каковы у меня, Толстого, родственники генералы были. До возраста-де государева, до семнадцати лет повелено править государством герцогу Курляндскому, а орел-де летал, да соблюдал все детям своим, а дочь его оставлена. И надобно ныне присягать государыне цесаревне». О том-де, он слышал, говорили лейб-гвардии Преображенского полку солдаты, идучи от учиненной ныне присяги Московской Ямской слободой... Толстого приводили в застенки и поднимали на дыбу, чтобы узнать, кто именно из солдат говорил сие. Он никого не назвал, и его сослали в Оренбург...

– Ужасно, – тихо вздохнула цесаревна.

– В Конном полку, Ваше Высочество, когда после присяги полк шел мимо вашего Смольного дома, капрал Александр Хлопов сказал солдату Долгинскому: «Знаешь ли ты, кому мы ныне присягали?..» Тот сказал: «Бог знает... А я не знаю...» Хлопов тогда обернулся к солдату Майкову и сказал: «Экой дурак, уже того не знает... А ты, Майков, знаешь ли, кому мы нынче присягали?..» Майков ответил по малом размышлении: «Как не знать, ведь слышали, как люди говорят, что присягали благоверному Великому князю Иоанну». На сие Хлопов сказал: «Вот император Петр Первый в Российской империи заслужил, и того осталось... Вот коронованного отца дочь, государыня цесаревна осталась...» И показал он тогда, Ваше Высочество, на ваш Смольный двор...

Рита выпила вина и, покрасневшая от мороза, смененного теплом, и от возбуждения, продолжала:

– Я, Ваше Высочество, тысячи и тысячи таких примеров могу вам показать... Мне об сем многие говорили... Брат мой все сие доподлинно знает, говорил еще... – Рита вдруг смутилась и опустила глаза.

Цесаревна улыбнулась и сказала сквозь милый смешок:

– Ну что уж!.. Секрет полишинеля!.. Знаем, знаем!.. Свои люди здесь, не чужие какие... Лукьян Камынин, наверно?

– Пусть!.. Он!.. Ваше Высочество, все, все до одного солдаты хотели вас видеть на престоле... И как же сие вышло, никто в толк не возьмет. Адьютанты герцога Курляндского мне сказывали, что сам Бирон им не раз говаривал, что фельдмаршал Миних единственный человек, которого ему следует опасаться и который способен нанести ему удар. Вчера, говорили мне, Бирон был погружен в глубокую задумчивость и, ложась в постель, чувствовал сильную дрожь.

– Да, не сладка власть, – прошептала цесаревна.

– Прошлую неделю, Ваше Высочество, в гвардии взяли в крепость семьдесят четыре человека и одиннадцать офицеров и били их кнутом... Бирон послал в Москву за своим братом и за зятем – генералом Бисмарком, и в полках пошли «эхи», что их пожалуют фельдмаршалами без всяких военных заслуг, а Миниха, Остермана и Головкина арестуют. Еще были и такие «эхи», будто герцога и герцогиню Брауншвейгских совсем вышлют из России и править будет один Бирон. В Петербурге через то большое смятение было по всем полкам. В городе караулы усилены. По улицам ночью драгуны на лошадях ездят. Миних все сие учел. Вчера ночью он со своими адъютантами Манштейном и Кенигсфельдом поехал в Зимний дворец, там он переговорил с принцессой Анной Леопольдовной, сошел во двор и приказал моему брату, который был в главном карауле, вызвать караул без барабанного боя. Когда люди были вызваны, Миних отобрал из караула пятьдесят grenadier и с ними пешком пошел к Летнему дворцу. На углу, у Летнего сада, часовой окликнул его: «Кто идет?» Миних подошел к часовому и приказал молчать, едет-де в карете сама герцогиня Анна Леопольдовна к герцогу Бирону по важному делу. Отряд остановился. Миних послал Манштейна в дворцовый караул и попросил к себе офицеров. Когда те вышли к Миниху, во двор Летнего дворца, Миних сказал им обо

всем, что замышляет герцог Курляндский и что герцогиня Анна Леопольдовна приказала его арестовать. Мой брат и караульные офицеры, взятые из Зимнего дворца, подтвердили слова своего фельдмаршала. Офицеры Летнего дворца, все, Ваше Высочество, ваши покорнейшие слуги, во всем согласились с Минихом. Они в тишине вывели караул в ружье. Манштейн взял двадцать гренадер и поднялся с ними в покои Бирона. Тот, услышав шум, выскочил в одном белье и сейчас же был схвачен. Там же арестовали герцогиню Курляндскую и детей. На герцога накинута солдатская епанча и посадили его в карету. Манштейн отправился арестовать его брата генерала Бирона, а Кенигсфельд Бестужева... К шести часам утра, задолго до света, все было кончено. Семеновский полк, как только узнал о сем, бегом прибежал к Зимнему дворцу. Офицеры и солдаты всем полком пришли умолять герцогиню Анну Леопольдовну, чтобы та уговорила своего супруга снова ими командовать и принять звание их подполковника. Эту же просьбу они повторили и самому герцогу. Тронутый сими знаками приверженности, герцог Антон изъявил согласие на их ходатайство. Пришли к нему еще и из конюшни герцога Бирона просить, чтобы он взял ее себе. Но герцог Антон сказал, что он не хочет ничего брать из того, что принадлежало герцогу Бирону. Вот, Ваше Высочество, как все сие произошло... В восьмом часу утра прибегает из караула мой брат, рассказывает мне это, и мы спешим в ваш дом. Ваш брат мне сказал, – и сие есть самое важное, – что, когда Миних вышел к гренадерской роте, он сказал: «Хотите ли государю служить?..» Гренадеры дружно ответили: «Служим, ваше сиятельство, с полным нашим усердием». Миних сказал: «Ведаете ли, что регент есть, от которого государыне цесаревне, племяннику ее, принцу Иоанну, и родителям его большое утешение?.. Надобно его взять. Ружье у вас заряжено?..» Гренадеры ответили: «Готовы государыне цесаревне и государю с радостью служить...» Тогда-то и пошли взять Бирона... Брала для вас, Ваше Высочество. Не для кого другого. И что же дальше? Враз по всему городу, по всем заставам поставлены крепкие караулы и приказано никого к вашему высочеству не пропускать, чтобы вы ничего о том, что произошло в Петербурге, до времени не прознали...

Рита встала из-за стола, низко поклонилась цесаревне, благодаря ее за ужин, и договорила, уже успокаиваясь:

– Вот и пришлось рабе вашей Маргарите опять к маскараду прибегать, чтобы предупредить вас обо всем, что так тщательно хотят скрыть от вас ваши враги и враги России. И только что я достала в соседнем подворье одежду монахини и убралась к вам идти, в ваш дом пожаловал Шетарди...

– Кто? – приподнимаясь с кресла, в крайнем изумлении спросила цесаревна. – Кто?.. Французский посланник?.. Пришел ко мне?

– Он самый, Ваше Высочество, маркиз де ля Шетарди.

– Вот как... Он-то зачем?..

– Он пришел сказать, чтобы нашли какое-либо средство дать знать вашему высочеству, что он умоляет Ваше Высочество, не медля ни часа, сегодня же ночью вернуться в Петербург.

– Шетарди? – снова, еще более удивляясь, переспросила цесаревна.

– Маркиз Шетарди, Ваше Высочество, – опуская глаза, подтвердила Рита.

XIII

Шетарди... Шетарди... Всю прошлую зиму в Петербурге только и разговора было по светским гостиним о вновь назначенном от французского короля посланнике к русскому Двору Иоахиме Жаке Тротти, маркизе де ля Шетарди. Он еще только ехал по Европе в далекую, холодную Россию, а уже различные «эхи», опережая его, бежали по Петербургу.

«Он стройный, красивый, остроумный, любезный, все женщины в Берлине, где он был раньше посланником, были без ума от него... Ему всего тридцать четыре года... Такой молодой и уже посол королевства Французского... Он едет для важных переговоров – закрепить дело

Петра Великого, начатое нашим послом Куракиным, – установить вечную дружбу между Россией и Францией... Франция готова, – наконец-то! – признать за русскими государями императорский титул... Будут переговоры о торговле и свободном судоходстве... Франция обещает закрепить Ништадтский мир со шведами и быть посредницей между Швецией и Россией ввиду возникших последнее время недоразумений... Полномочный посол!.. Молод?.. Да, но как остроумен!..

И как богат!.. С ним едет двенадцать кавалеров, секретарь, восемь духовных лиц, шесть поваров под руководством шефа, знаменитого Барридо, того... знаете?.. что самого Дюваля, повара наследного принца Прусского, за пояс заткнул... При нем пятьдесят пажей, камердинеров и слуг!.. Целая армия французского шика двигалась за ним на Петербург. А какие костюмы он везет!.. Он покажет, что такое французский вкус и шик... Все модники и петиметры Петербурга с тоской думали об этом. Они заранее обегали всех портных и золотошвей, давали наказ – подглядеть, проведать, через подкупленных лиц снять фасон и сделать им первым все, как у маркиза Шетарди, лучше, богаче, чем у маркиза Шетарди... Шетарди!..

Сто тысяч!.. Вы слышите: сто тысяч бутылок тонких французских вин везет с собой новый французский посол в тщательно укупленных ящиках, и одного шампанского – шестнадцать тысяч восемьсот бутылок!.. Вот она – Франция!.. Шампанского!.. Это тогда, когда у нас и по сию пору тосты за государыню пьют венгерским вином...»

Все эти «эхи» доходили до цесаревны и разжигали ее любопытство. Она следила за послом и, еще не видя его, интересовалась им по одним слухам. Ей подробно донесли, что 29 ноября 1739 года – еще и года этому нет – в Риге с помпой встречали маркиза де ля Шетарди. Войска и городовые роты были поставлены шпалерами до самого дома наместника и провожали поезд посланника батальным огнем. Посланник обедал у генерала Бисмарка, и об этом подробно писали в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Корреспондент из Риги, описывая празднества, не без зависти отметил: «Французский посол через три дня здесь во всяком удовольствии пробивался...»

Цесаревна знала Ригу – та умела принять и забавить... 12 декабря так же торжественно встречала посланника Нарва, 15-го посланник прибыл в Петербург.

Первый раз цесаревна встретилась с маркизом на придворном маскараде 15 марта. Этот маскарад был необычайно блестящим. Он начался в четыре часа пополудни и продолжался до пяти часов утра другого дня. Императрица Анна Иоанновна, она уже и тогда недомогала, удалилась во внутренние покои в одиннадцать часов вечера. Хозяйками маскарада остались цесаревна и Великая княжна Анна Леопольдовна.

Сейчас, качаясь и ныряя по ухабам в санном возке рядом с Ритой, цесаревна живо вспоминала этот маскарад.

Она была в голубой парадной «робе» и в голубом домино с кремовой кружевной отделкой. Маркиз де ля Шетарди оставался в маске не более четверти часа – все равно его все узнавали. Он ходил с фельдмаршалом Минихом. Герцог Курляндский предложил маркизу ужинать – был восьмой час. Шетарди уверял, что он никогда не ужинает. Миних сказал ему: «Не хотите ли по крайней мере пройти на галерею, чтобы видеть принцесс, которые уже там?..» – «Если сие доставит мне случай засвидетельствовать им мое почтение, я не премину им воспользоваться...» – сказал маркиз. Миних представил Шетарди цесаревне и Анне Леопольдовне... Великие княжны пригласили маркиза к своему столу, и цесаревна сняла голубое домино. Миних предложил Шетарди бокал шампанского, и тот просил разрешения выпить за здоровье Великих княжон. Они дали ему разрешение. Да... Удивительный это был бал!.. На нем, по приказанию императрицы, Шетарди поднесли золотую медаль, выбитую в память Ништадтского мира. «Дайте мне посмотреть медаль», – сказала по-французски Шетарди цесаревна. Как смешно округлились глаза маркиза от удивления. Она тогда не удержалась и, рассматривая медаль, толкнула локтем Анну Леопольдовну и шепнула ей по-русски: «Смотри, как он глядит

на нас. Я чаю, он полагает, что мы какие-то китайские, что ли, принцессы и дикие совсем, – и сейчас же обернулась к Шетарди и сказала ему с очаровательной улыбкой: – Это на медали – мой отец, маркиз... Сия медаль в память великой войны, которой я была свидетельница, хотя и малой девочкой тогда была. Храбрость российского народа и многие изящные его дарования как по истории известны, так и на нашей памяти в последнюю войну всему свету доказаны и от самих неприятелей наших признаны... – и, обернувшись к Миниху, она сказала: – Граф, медаль сия не годится для маркиза. Посмотрите, как сбиты на ней буквы подписи».

Миних послал переменить медаль. Ужин между тем окончился, в галерее раскрыли окна. Была мартовская, точно не зимняя свежесть. Лед покрывал Неву, и от реки тянуло морозом. Дамы накинули шубы, кавалеры епанчи и смотрели, как на набережной толпился народ в ожидании фейерверка. На Неве чуть намечались какие-то постройки из шестов и дранок и казались странным кружевным видением. Цесаревна пояснила маркизу, что фейерверк устраивает итальянец Сартия.

Вдруг быстрыми, быстрыми змейками побежали желтые огоньки пороховых ниток, и запылал и засверкал бесчисленными площадками великолепный храм с колоннами. Внутри показался ярко озаренный бенгальскими огнями искусно изображенный герб Российской империи, за ним вспыхнул пьедестал со знаками победы и славы и выше их вензель императрицы, украшенный лавровыми и пальмовыми ветвями. Огненное солнце проливало на него яркий свет.

Народ шумными криками и «ахами» приветствовал каждое новое огненное явление.

Раздались пушечные выстрелы, сотни ракет, шипя, вознеслись к небу, и в нем, на невидимых столбах утвержденная, запылала цветными огнями изображенная надпись латинскими печатными буквами.

Изумленный шепот прошел по галерее:

– Что сие?... Что оно означает?

Кто-то из академиков, за отсутствием императрицы, обращаясь к цесаревне, перевел громким голосом:

– Для славнейших твоих, монархиня, доброт – благословен твой дом пребудет в род и род.

Тогда заметила цесаревна, что все это: и роскошный праздник, и то особенное внимание, которое ей все оказывали в отсутствие императрицы, – произвело какое-то, и, вероятно, не малое, впечатление на французского посланника.

Сильнее разгорались огни фейерверка. Их огневая игра прерывалась новыми не виданными и не знаемыми в Версале картинами. Вдруг обнаружилась словно бы хрустальная галерея колонн, выточенных из льда. В ней стояли на пьедесталах статуи богини Весты с возженной лампадой в высоко поднятой руке и Минервы с копьем и в шлеме с совиной головой. Цветные огни заиграли на них, освещая их то в розовое, то в голубое, то в зеленое. Странными видениями казались они в холодной галерее. В небе между тем все выше и выше вспыхивали одна за другой латинские надписи. Более получаса горели эти огневые картины, отражаясь во льду Невы струящимися цветными потоками. Потом закрутились, завертелись огневые колеса, брызнули желто-искорные фонтаны, ракеты понеслись в небесную темень и точно пушки взрывали швермера. В небе то сыпал огненный дождь мелких искр, то рассыпались цветные звездочки римских свечей.

При каждом удачном полете ракеты, когда, лопаясь, она рассыпалась на стайки огневых змеек, штопорами медленно спускавшихся к земле, на набережной вспыхивало и гремело восторженное народное «ура». Народ угощали от двора вином и пивом, императрица, стоя на балконе внутренних своих покоев, кидала в толпу серебряные и медные деньги...

Великолепный это был фейерверк, и цесаревна хорошо запомнила каждую мелочь этого дня своего первого знакомства с маркизом де ля Шетарди. После фейерверка цесаревна прошла во внутренние покои и там переменяла свое платье, надев розовое домино, необычайно шедшее к ее свежему молодому лицу.

Во время бала играла итальянская музыка. Цесаревна много танцевала и менуэт прошла с Шетарди. Они говорили о модах, о «фонтанжах», о «корнетах», о «самарах» и «адриенах». Шетарди сказал цесаревне, что при Петербургском дворе одеваются много лучше, чем в Потсдаме, и совершенно так, как в Версале.

– Вы говорите мне ластивые слова... Все сие не больше как комплименты.

Но Шетарди ей клялся, что это правда. Цесаревне было приятно говорить с маркизом о Версале. Это было большое и больное чувство – вспоминать о короле, которого ей сватала ее мать, говорить о том, чьим прекрасным изображением в виде мальчика-рыцаря в стальных латах на воздушно-лиловато-сером фоне и теперь не без сердечной тоски она любовалась... Французский язык маркиза звучал, как самая лучшая музыка. Сама она была в ударе, была необычайно мила, приветлива, остроумна, танцевала лучше и больше всех и чувствовала себя царицей бала не только потому, что она была цесаревна и дочь того, кто завоевал весь этот прекрасный край и построил этот город, полный своеобразного очарования, но потому, что и точно она была здесь самая красивая, ловкая и изящная дама.

В два часа ночи она в третий раз сменила платье и появилась в «робе» соломенного цвета с серебряным и фиолетовым гарлантовым туром по гризету, с бриллиантовым пером в волосах и огромными бриллиантовыми серьгами. В каждом платье она была все лучше и интереснее.

В пятом часу утра она уезжала. На растоптанном буром снегу горячились застоявшиеся лошади ее кареты, камер-лакей держал дверцу, гайдуки ожидали ее. Цесаревна в горностаевой шубе, покрытой желтой, богато затканной серебром парчою, с муфтой в руке, вышла на крыльцо, сопровождаемая Шетарди. Маркиз оттолкнул ее гайдука и сам подсаживал ее в карету, убирая широкую юбку ее платья. Она смеялась в муфту. В свете фонарей ее глаза были темными, прелестные ямочки играли на полных, разруганных жарой в зале, танцами и возбуждением успеха щеках...

Это было всего восемь месяцев тому назад. После бала она редко видела маркиза, и когда видела, то мельком, на выходах и куртагах при дворе. Императрица скоро слегла. Куртаги и ассамблеи прекратились, Бирон стал заносчив и неприятен, цесаревна заперлась в своем Смольном доме и часто уезжала то в Гостилицы, то в Перово...

Шетарди ушел в прошлое. Он был позабыт. Осталось только очень красивое и яркое воспоминание от того бала-маскарада 15 марта, когда она чувствовала себя очаровательной и когда она легко, интересно и остроумно говорила с посланником христианнейшего короля.

Сейчас этот посланник зовет ее приехать в Петербург... Видно, не одни солдаты, но и иностранные державы считают, что это она должна наследовать престол своего отца после Анны Иоанновны.

XIV

В седьмом часу утра цесаревна прибыла в Петербург, в Смольный дом. Доктор Лесток, Михайла Воронцов, Иван Шувалов и капитан Ранцев ее ожидали. Они сообщили ей, что в одиннадцать часов утра назначено всем особам первых четырех классов съезжаться в Зимний дворец.

– Ваше Высочество, – говорил ей Ранцев, – это ничего, что манифест в пользу Анны Леопольдовны у них заготовлен... Вы явитесь и сами провозгласите себя, и не правительницей, но прямо императрицей. Вас не ждут... Сие будет изрядный переворот. Они растеряются. Вся гвардия станет на вашу сторону. Правда и справедливость будут наконец восстановлены. Маркиз Шетарди говорил, что, если понадобится, шведские войска по приказу Франции займут Петербург и провозгласят вас императрицей.

– О, нет... Никогда... Только не это! – с возмущением воскликнула цесаревна. – Не простирайте вашего ко мне усердия до толь невозможных пределов.

– Ваше Высочество, – сказал Шувалов, – они до худшего доведут Россию.

– Пусть они, но не я, – сказала цесаревна и пошла переодеваться, чтобы ехать во дворец.

Она явилась и точно неожиданная и совсем нежеланная. На ее свежем лице и следа не было бессонной ночи. В траурном платье, с высоко поднятой головой она прошла по зале мимо министров, сенаторов и генералов, низко склонившихся перед ней. Она не дошла еще до дверей, ведущих в аванзалу, как началось шествие. Великая княгиня Анна Леопольдовна показала оттуда с сыном Иоанном на руках, за нею шли ее муж, фельдмаршал Миних и Остерман.

Когда цесаревна увидела на руках Анны Леопольдовны ребенка-императора в розовых, тканых золотом пеленах, на золотой подушке, увидела размягченную материнскую нежность на смущенном, покрасневшем лице Великой княгини, она почувствовала, что ничего не может предпринять и не знает, что ей нужно делать. Она низко склонилась перед ребенком как перед императором и пошла позади Анны Леопольдовны слушать, кому «до времени» прикажет младенец-император повиноваться.

Долго и невнятно вычитывал перепуганный Остерман по бумаге. Герцогиня Бевернская Анна Леопольдовна, именем своего сына, была провозглашена Великой княгиней, правительницей с титулом «Ее Величества», уполномоченной правлением страны на время малолетства ее сына. Герцог Брауншвейгский был провозглашен генералиссимусом.

По прочтении манифеста все бывшие в зале направились в церковь. О цесаревне в манифесте не упоминалось ни единым словом.

В ожидании молебствия цесаревна узнала подробности переворота. Арестованных еще вчера развезли по крепостям. Миних сам отказался от предложенного ему звания генералиссимуса, он заявил, что его желание, чтобы армия имела счастье видеть командиром отца своего государя. Его назначили первым министром, Остерман был пожалован в генерал-адмиралы и министром иностранных дел, князь Черкасский канцлером, Головин вице-камергером. Герцог Курляндский был лишен всех своих денег и имущества, даже золотых часов и платья. Только церковь при ектениях и многолетии не забывала цесаревны. Поминали царя, Великую княгиню Анну и после нее Елизавету.

Цесаревна первой подписала присягу. Что другое она могла сделать?.. Она ждала, что скажет народ. Но народ – ее народ, солдаты, на площади перед дворцом кричали «виват» правительнице Анне Леопольдовне!..

Цесаревна не была удивлена, возмущена или удручена случившимся. Напрасно покинула она уютное, теплое гнездышко в Гостилицах и холодной темной ночью мчалась в Петербург, напрасно отказалась от сладкого сна, – а как ей тогда хотелось забыться в тишине морозной, тихо шествующей зимней ночи!.. Но она уже знала, что событиями, историей никогда не двигают народы, но всегда единичные личности. Народ только способствует, а ведет кто-то один, кто знает, чего он хочет.

Теперь историю России повел Миних, как раньше ею распоряжался Бирон. Все – немцы... Цесаревна прекрасно знала историю своего отца. Сколько раз ей ее рассказывали, а многому она и сама была самовидицею. Она знала, как боролся Петр с правительницей Софьей, как расправился собственноручно с бунтовавшими стрельцами и казаками, все делал сам, во имя России и ее благоденствия и величия. И сейчас это не солдаты свергли Бирона, но Миних его арестовал, и солдаты кричали «виват» тому, кому приказал кричать Миних.

У цесаревны такого Миниха не было. Ей нужно было все сделать самой или удалиться опять на покой.

Она чувствовала, что и она, как ее отец, – «от природы не весьма храбра»... Ей надо тоже «слабость свою преодолеть рассуждением», но не могла этого сделать и отошла в сторону, стала простою наблюдательницей совершающихся событий.

Она поджидала Шетарди. Но французский посланник к ней не являлся и на придворных выходах явно избегал ее. Он, видно, был ею недоволен, не того он ожидал от нее. Вместо Шетарди зачастил в ее Смольный дом шведский посланник Нолькен. Он пространно рассказывал цесаревне, что Остерман и герцог Брауншвейгский хотят тесного союза с Австрией, что это неприятно Франции и та может оказать давление на Швецию и заставить ее объявить войну России. И выходило как-то так, что в этой войне, одинаково невыгодной для России и для Швеции, виноватой будет цесаревна.

– Если бы Ваше Высочество, – вкрадчиво и льстиво говорил Нолькен, – согласились пересмотреть некоторые пункты Ништадтского мира... Например, о Выборге... Сколь сие оскорбительно для Швеции потерять Выборг... Если бы вы, Ваше Высочество, согласились дать письменное о сем обязательство, шведские войска пошли бы к Петербургу, чтобы восстановить ваши права и провозгласить дочь Петра Великого императрицею всероссийской...

– Но при чем тут я, любезный посол, – со смущенной улыбкой говорила цесаревна. Дикими и нелепыми казались ей эти планы. Шведы, кого она с колыбели привыкла считать врагами России, блестящей победой над кем ее отец был обязан своей славой и величием, будут сажать ее на престол, отнятый у беспомощного младенца! Но возмущенное «нет» она почему-то затаивала в своем сердце и на повторные предложения посла улыбалась синими глазами и говорила с загадочной улыбкой:

– Господин посол, не будем о сем говорить. На российском престоле сидит племянник мой Иоанн Антонович. К его начальникам коллегий вам надлежит обращаться с вашими представлениями. Я верная раба своего императора.

Посол уезжал несолоно хлебавши, но к цесаревне сейчас же являлся ее лейб-медик Лесток. И его кто-то настраивал, и он говорил ей то же самое, только другими словами подводил ее к какому-то решению, необходимому для России, спасительному для нее. Он рассказывал цесаревне городские сплетни про правительницу Анну Леопольдовну. Ей надо было оборвать своего медика, прогнать его прочь, – она слушала его с пылающими щеками. – Ваше Высочество, какой позор для России творится ныне во дворце, на глазах у всех... Об сем пишут иностранные представители, и не щадят они России. В Бозе почившая государыня позволяла себе многое с герцогом Курляндским, так все-таки надо отдать справедливость, герцог умел себя держать. Ныне... Какая во дворце грязь, Ваше Высочество, вы себе и представить не можете. Намедни правительница пожаловала графу Линару из своих рук орден святой Анны и наградила его горячим поцелуем, и все сие было сделано раненько утром, в постели, в неприбранной спальне, хотя правительница и находится в полном здравии. Весь Петербург пересуживает сии «эхи».

– Молчите!

Но Лесток не умолкал, и она его слушала.

– Про Юлиану Менгден Ваше Высочество, наверно, изволили слышать. Она готова выйти замуж за графа Линара, хотя знает, что делается только ширмой для правительницы, да и сама едва ли не любовница Анны, а что спит с ней, так сие даже и не почитают нужным скрывать.

– Но молчите же! Какой, однако, злой у вас язык. Все это вздор. Графиня Менгден родственница Миниха, и так естественно, что ныне она самая приближенная к правительнице. Правда, у нее дурной характер. Она ревнует Анну к ее мужу и ссорит их. Но ведь и Антон не находка. И вял, и редкий дурак. Юлия красивая смуглянка, с большим темпераментом и помешана на благотворительности. Для добра она способна и на унижение.

– И на преступление, Ваше Высочество.

– Возможно, что и на преступление, но она предана Анне. Она не вмешивается в политику, и у нее доброе сердце.

– Слишком доброе, Ваше Высочество.

– Не нам сие судить.

– Ваше Высочество, их судит Россия... Весь мир имеет возможность видеть их поступки и наблюдать их жизнь. Она вынесена на улицу, и какая там грязь. Во дворце прорезали дверь в сад дома, где живет граф Линар, и к той двери поставили часового с приказом никого не пропускать, хотя бы то был сам герцог Брауншвейгский, супруг!.. В полках о сем говорят.

– «Эхи», Лесток. Петербург погряз в придворных «эхах».

– Ваше Высочество, они развели в спальнях Зимнего дворца клопов... А еще так недавно все иностранцы восхищались чистотой и говорили, что у нас не хуже Версаля.

– Молчи, Лесток.

Цесаревна ездила во дворец. Она искренне, материнской, не избытой любовью полюбила младенца-императора, и ей доставляло удовольствие тетешкаться с ребенком, кроме того, она не хотела потерять там своего влияния. В словах Лестока, увы, было много правды. На выходах и на приемах иностранных послов в большой аудиенц-зале правительница являлась из внутренних покоев в небрежно надетом, засаленном платье, с помятой прической и с сонными глазами. Она торопилась скорее пройти вдоль шеренги представляющихся, скрыться к себе и сидеть у окна с рукодельем, с графом Линаром и Юлией Менгден. Она любила одиночество втроем и боялась общества. Герцог Брауншвейгский, сопровождавший ее на выходах, не знал, что кому сказать, был нетверд в русском языке и только растерянно моргал глазами. Ему казалось, что все знают, что жена ему изменяет, и ему было стыдно на людях. Спасала положение цесаревна. Высокая, красивая, всегда в новом великолепном, из Парижа выписанном платье, прекрасно сшитом, точно сделанном для ее большой статной фигуры, – к ней фижмы шли необычайно, – в оригинальной, невычурной прическе, с цветком в волосах, которые редко пудрила, с улыбкой на лице, приветливая, обворожительная, она знала, кому что сказать и с кем говорить по-русски, с кем по-французски. Иногда какому-нибудь седому майору наполевых полков она так сочно, красиво, кругло, по-солдатски, смачно скажет такое словцо, взятое из казарм, что тот станет с раскрытым ртом и не может дышать от умиления и восторга:

«Настоящая солдатская дочь!.. Искра Петра Великого...» А она перейдет к соседу, какому-нибудь дипломату, и заговорит с ним на таком тонком, изящном французском языке, что бедный майор навсегда обалдеет и повезет с собой в глухую провинцию рассказ о подлинной царь-девице.

Цесаревна отлично понимала, что она-то умеет войти в роль императрицы и заменить несчастную робкую правительницу. На приемах и на куртагах все глаза были устремлены на нее и только с нею и считались. Она ждала, когда к ней придет ее Миних. Императрицу Анну Иоанновну наконец торжественно погребли. В Петербурге стало вольнее и спокойнее, но жизнь все не утрясалась. Все казалось, что этот порядок только временный и что должна быть еще какая-то перемена.

19 декабря, в день рождения цесаревны, Великая княгиня Анна Леопольдовна подарила Елизавете Петровне дорогие браслеты из крупных жемчугов, император Иоанн Антонович из колыбели прислал ей золотую табакерку с русским орлом на крышке, управление соляными варницами получило приказание выдать новорожденной сорок тысяч рублей. Последнее было очень кстати. У цесаревны были долги. Она расплатилась с ними, съездила в Сестрорецк, заказала себе там новые охотничьи мушкеты, и, как только сошел снег, затоковали в Рапполовских лесах у Петергофа глухари и тетерева, – она с новыми ружьями, новыми охотничьими костюмами, с Разумовским, Воронцовым и Василием Ивановичем Чулковым, оставив в Смольном доме Лестока и дав поручение Рите следить за настроениями казарм, откланялась правительнице и умчалась в Петергоф, куда ее звал старый Бем.

Ее не удерживали. Цесаревна знала: ее ревновали и ее боялись. По приказу Антона Ульриха за ней следили.

Тем лучше и своевременнее было уехать из Петербурга. Бем по-немецки писал ей, сколько и где токует глухарей и какой позже по весне богатый ожидается лет вальдшнепов на тяге.

Если народ ее не хочет... – и не надо...

XV

Никакой город в мире не может быть так прекрасен, так очаровательно томен, как Петербург весной. В бесчисленных садах бурно цвела черемуха. Из-за высоких дощатых заборов сирень свешивала букеты лиловых, розовых и белых кистей, тополя и липы бульваров, березы рощ, прерывавших линии домов и садов, благоухали свежим молодым листом. Обширные луга у Зимнего дворца и Адмиралтейства были покрыты низким золотым ковром цветущих одуванчиков, Нева, освободившаяся ото льда, – уже и ладожский, последний лед прошел по ней, – благоухала водными глубинами, запахом смоляных набережных, пеньковых канатов причалов и пряным духом первых кораблей, пришедших из далеких заморских стран.

Днем в Летнем саду, по набережной и по Невской перспективе шло народное гулянье и была выставка весенних туалетов и причесок. Медленно тянулись золоченые кареты и коляски с зеркалами внутри, запряженные четвериками и шестериками цугом, с лакеями в расшитых золотом и серебром ливреях, проносились лихие одиночки и пары, и сколько всадников и амазонок тропотило где по каменной, булыжной, где по деревянной, дощатой мостовой. В звоннице Летнего сада и в Екатерингофе играли оркестры, с галереи Зимнего дворца слышны были скрипки и флейты нежной итальянской музыки.

По вечерам, – и что за удивительные, томные были эти вечера без сумерек, без темноты, когда менялся только характер освещения, исчезали, точно смывались, тени, солнце садилось за Васильевский остров, заря погасала, прохлада спускалась на землю, соловьи в садах щелкали, черные дрозды тихо посвистывали в березовых рощах, не зная – укладываться им спать или вставать, дали затягивались прозрачным синеватым туманом, и сильнее пахло клейкими листочками берез и тополевой почкой, на кораблях загорались таинственные огни, у ресторанов и кабачков развешивали длинные гирлянды цилиндрических и шарообразных пестрых бумажных фонарей, совсем и ненужных в свете белой ночи, но придававших неуловимый уют заведениям, – по таким вечерам в Петербурге было особенно хорошо, радостно и весело.

Из домов в раскрытые окна доносились звуки клавикордов. По Неве скользили шлюпки, на них трубили в трубы, и откуда-то издалека, с Петербургского острова, неслась по реке дружная, хоровая матросская песня.

Тяжелая зима со смертью императрицы, с дворцовым переворотом, с арестами и ссылками была позабыта, праздник весны настал в Петербурге. Ни слухи о том, что шведы замышляют войну, ни безрадостное правление Анны Леопольдовны – ничто не могло омрачить света ароматной, нежной, просторной и милой петербургской весны.

В эти дни Рита с ума сходила от любви и тоски по Лукьяну Камынину. Она давно ожидала, что тот ей сделает наконец предложение, но годы шли, и не хотел он просить ее руки, не имея офицерского чина. Десять лет напряженного ухаживания при редких встречах, томления, пожатий руки и робких поцелуев в тени кустов, в уединении садовой беседки! Рита «себя соблюдала», Лукьян не спешил с формальным предложением.

Такая любовь без исхода становилась мучительной и сильной, готовой на все.

Исполняя свои обязанности разведчицы, собирая казарменные «эхи», Рита бесстрашно ходила в казармы к женатым солдатам, в общие избы холостых. Она не боялась приставаний и ухаживаний, умела отводить где шуткой, где просто оттолкнуть ставших слишком навязчивыми кавалеров. Ее тактика была: никогда не быть ни с кем вдвоем, но всегда в целой компании, там, где другие кавалеры из ревности не позволят больших вольностей при ухаживании.

Она бывала в казарменных избах Конного полка, но никогда не заходила в горницу к Камынину – боялась, что войдет и не сможет сдержать давно накопленной любви и страсти.

В эту ароматную весну – может быть, уже слишком страшна была зима с Бироном, заговорами и арестами, дыбой и плетью – очень много девушек из военных семей объявились невестами и еще больше «чепчиков полетело через мельницы». Все это очень смущало Риту, и она была готова забросить и свой. Пример был налицо – обожаемая ею цесаревна. Была же она счастлива со своим Алешей и как еще хорошо и ладно с ним жила! Была надежда – если Лукьян не решается сделать предложения раньше – он, как честный офицер, сделает его после.

У графа Петра Шереметева был дневной маскарад. Рита была на нем в черной бархатной юбке, вышитой золотом, в таком же корсаже и в черной бархатной епанче, в шляпе, в тафтяном розовом домино с нарисованными на нем алыми розами. Она танцевала только что вошедший в моду польский контрданс с незнакомой ей маской. Эта маска заговорила с ней о тяжелых временах бироновского правления и намекнула, что аресты и пытки знакомых ей преображенных офицеров были сделаны по доносу одного родственника Бестужева, получившего за этот донос производство в чин. Рита допытывалась, кто мог быть этот доносчик, но маска ускользала от более подробных указаний и сказала только:

– Доносчик – лицо к вам близкое и совсем недостойное вашей любви...

После этих загадочных слов, заинтриговавших Риту, маска скрылась в толпе, и как ее ни искала Рита, она ее больше не встретила на маскараде.

Заиграли менуэт, и к ней подошел Камынин. Она дала ему руку. На мгновение в голове промелькнула мысль: «А что, если Лукьян?..» Но это показалось невозможным.

Лукьян был особенно нежен. Весна влияла на него.

– Если бы это было пристойно, – сказал он во время танца, – я поцеловал бы вашу руку.

Рита стыдливо потупила глаза и ответила:

– Это было бы уже слишком. Мы на людях.

И подняла на него глаза. Снова промелькнула страшная мысль: «Камынин вертелся последнее время среди преображенных офицеров». Она хотела спросить Камынина, но тот перебил ее:

– Маргарита Сергеевна, мое сердце сгорает от любви к вам. Я смотрю на всех, а вижу только вас. Вы одна для меня во всем мире. А вы...

Это тронуло Риту. Она снова оттолкнула мысли о предательстве. Не мог Лукьян быть предателем своих товарищей.

– Что я?.. – тихо сказала она.

– Вы червонная десятка. Вы многим отдаете ваше сердце.

– Одно имею и, следовательно, отдать могу только одному.

– Кому же вы его отдали?

Рита вздохнула и, потупив глаза, с глубоким вздохом ответила:

– К кому оно лежит.

– Далеко ли оно теперь?..

– Совсем близко.

– Если бы я обошел вас кругом?.. Нашел ли бы я ваше сердце?..

– Оно так близко к вам, что его нельзя обойти, – сказала Рита и выпустила его руку из своей.

Танец кончился. Она убежала от Камынина.

Она согласилась после маскарада поехать к Лукьяну. Ей хотелось наедине с ним рассказать ему те «эхи», которые ей передали сейчас, и в упор спросить, правда ли все это и кто был тот родственник министра, который предал на пытки своих доверившихся ему товарищей.

Там, у него в горнице, она все расспросит... Конечно, он опровергнет клевету и успокоит ее. А там?.. Там уже видно будет, что будет...

С сильно бьющимся сердцем Рита ехала по светлым улицам Петербурга. Она сидела рядом с Лукьяном на извозничьей двуколке, тесно прижавшись к нему. Когда извозчик выехал на Шпалерную улицу и свернул с булыжной мостовой на мягкую пыльную обочину, двуколка стала покряхтывать и покачиваться на выбоинах, и Лукьян обхватил Риту за талию. Рита заметила расшитый золотом обшлаг его колета и стала невольно вспоминать, когда был произведен он в корнеты.

Ее лицо было близко к его голове, и ее локоны щекотали его. Лукьян был в сладостно размягченном состоянии и верил и не верил своему счастью. Он ощущал аромат ее волос и запах нежных духов ее накидки, и у него кружилась голова. Беспорядочные, сумбурные мысли неслись в ней. И думал: «Только бы согласилась сесть ко мне на колени, а там – ни одна девушка не устоит!.. Схвачу, и вся недолга...»

Горница Камынина была при «шквадроне». Извозчик подвез к низкой и длинной каменной, белой казарме под красной черепичной крышей с рядом узких и высоких окон в частом переплете. Лукьян отпустил извозчика у ворот и повел Риту во двор. В узком, тянувшемся вдоль казармы дворе были устроены отгороженные высокими заборами маленькие палисаднички. В них в этот тихий вечерний час нежно пахли молодые березы.

На стук денщик, или, как его по-старинному, по-петровскому, назвал Лукьян – «лейбшиц», открыл обитую войлоком дверь. Со света комната показалась темной. Она была глубокой, и единственное запыленное окно давало мало света. Комната была обставлена очень бедно. Но это нисколько не смутило Риту. Солдатская дочь, выросшая в казарме, она понимала – корнетская обстановка. У стены стояла простая деревянная кровать с двумя подушками, вместо одеяла накрытая старою епанчой. По стенам были развешаны мундиры и рейтузы, и на ящичке, как украшение, была поставлена кираса, накрытая каской. Сбоку висел палаш. Пара высоких ботфуртов со шпорами, бич, прислоненный к углу, и мундштучное оголовье дополняли обстановку жилища Камынина. Окно было закрыто, в комнате пахло табаком и конюшней.

Лукьян прогнал денщика. Он, видимо, был смущен и не знал, что дальше делать. Его голос срывался, и когда доставал из шкапа и ставил на простой деревянный стол два пузатых граненых стаканчика и бутылки с ромом и мальвазией, его руки заметно дрожали. Это трогало и умиляло Риту.

Она ходила взад и вперед по комнате, переступая с каблучка на носок, и напевала мотив менуэта. Она сняла епанчу, цийшку и домино. Прическа, расстроившаяся во время танцев, разбилась, локоны упали на лоб, – очень моложава и красива была она в растрепавшихся кудрях, падавших на лоб и на брови. В ней было что-то мальчишески задорное, что пьянило Лукьяна. Она нервно смеялась. Ей было не по себе. В сущности, зачем она приехала? Затем... А если она навязывается?.. Допросить его?.. Скажет ли он ей теперь правду, когда так трясутся от страсти его руки? Лукьян подвинул табурет к столу и сел на него.

– Садитесь, Рита, – сказал он не своим, глухим голосом.

Имя «Рита» прозвучало вымученно и фальшиво.

У него не первый раз была в комнате женщина. К нему – молодцу и красавцу вахмистру – бегали служанки соседних господ, ездили немочки с Васильевского острова и из Коломны – словом, бывали те, кого в их военной среде называли «девицы нашего круга»... Он знал, как с ними обращаться. Раз-два... и готово. В три темпа: «Шай на кра-ул!..» И... ха-ха-ха-ха! Рита совсем не так смеялась; в ее нервическом смехе было нечто жуткое и напряженное, что сбивало Лукьяна с толка. Лукьян понимал – полковничья дочь, сестра всеми уважаемого капитана Преображенского полка. Он понимал, чем это пахло в случае ошибки... Но вот при-

ехала же к нему?.. И если Линар ходит по потаенному ходу к правительнице и, говорят, спит с ней, почему ему не поспать с Ритой Ранцевой?

– Садитесь, Рита, – повторил он нетерпеливо. – Садитесь же.

Она остановилась в двух шагах от него. Так было естественно сделать эти два шага и мягко опуститься к нему на колени. Лукьян расстегнул крючки колета. Под ним была чистая, белая рубашка. Лукьян посмотрел на Риту. В неясном вечернем освещении растрепанная, стройная, тонкая девушка показалась ему несказанно прекрасной. Тонкая талия была тесно стянута корсетом, под маленькими фижмами, под бархатом юбки ощущались ее прекрасные ноги и, невидимые, скрытые и таинственные, манили и раздражали воображение. Лукьян был возбужден и с трудом владел собой. Рита остановилась как бы в раздумье и, покачивая головой, смотрела на мундир Лукьяна.

– Лукьян, – вдруг становясь строгой и серьезной, сказала она, – когда произвели вас в корнеты?

– Вскоре после смерти императрицы... За отличие... – ответил он простодушно и протянул руку, чтобы обнять Риту за талию и притянуть к себе.

– За от-ли-чие, – протянула Рита. Кровь бросилась ей в голову, она мучительно покраснела до самых ушей, глаза ее стали большими и темными. Все ей вдруг стало понятно и ясно, как если бы та неизвестная маска прямо назвала ей Лукьяна Камынина Ледяным мерным голосом, отчеканивая каждое слово, она сказала:

– Сие было тогда, когда преображенцев Ханыкова и Аргамакова на дыбу бросали и, плетью наказав, сослали в Оренбургский край... на линию... в напольные полки?..

Вдруг все возбуждение прошло у Камынина, и точно ледяные струи пробежали к груди и к ногам. Точно громадная, толстая, гранитная, холодная стена стала между ним и Ритой, и веяло от той стены морозом. Вдруг они, друзья детства, его первая любовь, стали страшно далеки друг от друга. Не любовница пришла к нему, а грозный, беспощадный, справедливый судья...

Камынин побледнел добела и тихо сказал с неясным упреком:

– Зачем же так...

Рита не ответила. Она смотрела страшным взглядом прямо в глаза Лукьяну и качала головой.

Лукьян встал и начал оправдываться, но уже понимал, что она все знает, что она его уже осудила и никогда не простит. Его голос был вял, он сам не слышал тех слов, которые низались бессвязно и глухо.

– Маргарита Сергеевна, сие было моим долгом... По присяге я обязан был...

– Доносить на товарищей, которые больше вашего желали и искали блага России, – сказала с сожалением Рита.

– Как же было можно, Маргарита Сергеевна!.. Такие слова были сказаны!.. Масакр замышлялся!.. У меня дядя министр!.. Они!..

– Я ныне все вспомнила... Вы сами им говорили... Вы пригласили их к себе, чтобы все узнать... Вы сами учинили сей разговор... Я во все могла поверить, но не в такую подлость!.. Сия же низость... И вас... в корнеты!..

– Присяга, – пролепетал едва слышно Лукьян.

– Кому присяга?.. Регенту?.. Бирону присяга?.. Которого в одиночасье арестовали и сослали?.. Ему верность?..

Она внезапно, чем-то охваченная, умолкла. Камынин стоял бледный, опустив голову, и было видно, что все его тело трясется. Долгая тишина вошла в комнату. Молчание их было ужасно. Не знала Рита, смогла ли бы она выдержать долго такое страшное молчание и такую напряженную неподвижность. Но за стеной внезапно раздался шум и топот ног. Несколько

десятков человек вошли в соседнюю казарму, зазвенели шпоры, люди смеялись там и прокашливались. Потом раздалась команда:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.